«ВО ТЬМЕ ШАГАЮ НАПРЯМИК...»

О Борисе Корнилове

Редкий камень

Иные говорят так: убили тебя – веди себя спокойно.

А этот всё норовил вернуться.

С ним связано подобных историй на три дня смурных мужицких рассказов и три века материнских слёз.

Известный на всю Советскую Россию стихами и скандалами, поэт Борис Корнилов был арестован 19 марта 1937 года. Больше никто, кроме следователей и прокурора, сокамерников и палача, его не должен был увидеть никогда.

Он сгинул, как тысячи и тысячи других: ни письма, ни весточки, ни креста, ни могилы.

И вдруг 14 августа 1964 года сыктывкарская газета «Молодёжь Севера» сообщает небывалое и пронизывающее насквозь любого, кто знал и помнил Корнилова (а у него была жива ещё и мать, и первая жена, и вторая жена, и дочь – правда, ещё не знавшая, кто её отец).

Старший инженер отдела нормирования Сыктывкарского ЛПК Виктор Владимирович Белоусов рассказывает, что общался с Борисом Корниловым с 7 по 11 мая 1946 года на Верхне-Бусинском пересылочном пункте возле станции Известковая Хабаровского края.

Вместе, говорит, бедовали – помнит даже, как мылись в одной бане и переодели обоих в трофейную одежду Квантунской армии.

Корнилов тогда нехотя сказал Белоусову: «Да, "Песню о встречном" написал я».

– Неужели ту самую? Где «нас утро встречает прохладой...»?

– «...нас холодом встретит река», – закончил строчку Корнилов.

Белоусов с полминуты смотрел на него не моргая.

Впрочем, мало ли чудес помнил всякий бывалый зэка. И генералы попадались, и тенора, и бывшие наркомы. С другой стороны, всё-таки настоящий поэт – невидаль. Поэт, он… неведомо где должен обитать… а этот штаны выбирает себе по размеру.

Успели несколько раз поговорить о поэзии; собственно, говорил всё больше сам Корнилов: Байрон, Пушкин, Маяковский – о каждом имел веское суждение, и наизусть цитировал...

Потом Корнилова отправили на один рудник, а Белоусова – на другой.

Но ведь это означает, что он может быть до сих пор живым? Почему ж не объявился тогда?

А может, если незаметно подойти к окну и в щель меж занавеской глянуть – увидишь его там, на другой стороне улицы, как он, кепку надвинув на глаза, смотрит на свой бывший дом? Курит и смотрит.

Спустя четыре года, 21 декабря 1968 года, семёновская районная газета «Ленинский путь» ещё раз напишет про того же самого Белоусова, ту же трофейную одежду, те же расклады.

Впрочем, одновременно гуляет по стране и другая версия: Корнилова убили в Магадане, уже после войны. Боря в лагере коллекционировал редкие камешки; в очередной раз возвращался с работ, увидел искомый осколок странной породы или какую другую гальку – шагнул к ней, потянулся рукой; конвойный подумал, что это попытка к бегству, и тут же, насмерть, застрелил заключённого в спину.

В тумбочке у Корнилова нашли тогда целую коллекцию разных камушков. Чудак-человек. Поэт, одним словом. Глупо умер.

Ольга Берггольц, его первая жена, верила в эту историю, сама пересказывала знакомым. Что-то в ней было подкупающе правдоподобное: камушки эти, будь они неладны.

– А на воле, до ареста, он собирал камушки? – спрашивали.

А на воле не собирал.

В начале 70-х эта версия неожиданно нашла себе подтверждение.

Семёновский краевед Виктор Чижов общался с композитором Павлом Русаковым (известным в своё время как Поль Марсель). Русакова арестовали в 1937 году, предъявили подготовку к убийству Кирова и дали «десятку». Сидел срок в Вятлаге, где работал в Музыкально-драматическом театре ВятЛАГа НКВД. Освободился в январе 1947 года – на 11 месяцев раньше окончания срока: скостили за деятельное участие в культработе.

Этот Поль, который Павел, рассказал, что в управлении лагерей был такой генерал Кухтиков, который берёг и покрывал всех даровитых заключённых, возясь с ними, пристраивая, где потеплей и прикармливая, когда голодно. И однажды Кухтиков, по душам общаясь с Русаковым, пригорюнился, разливая:

– А беда слышал, какая случилась, Русаков? Борьку Корнилова не уберегли! Конвойный застрелил – думал, что тот пошёл на побег, а он камешки собирал…

– Какие камешки?

– Да откуда я знаю, Марсель. Пей. Твоё здоровье.

Казалось бы – всё теперь ясно, если не объявился до начала 1970-х, значит, правы те, кто в камушек поверил.

И тут история принимает очередной, хоть и безрадостный, оборот.

В июне 1978 года в журнал «Дружба народов» приходит очерк «Новая жизнь Бориса Корнилова», автор – некий Николай Александрович Иванов.

Литературный критик и большой поклонник Корнилова Лев Аннинский прочитал и ахнул: вот тебе и раз!

Сомнения, конечно, оставались – но так хотелось верить в рассказанное.

«Встретились мы с Борисом в первых числах сентября 1949 года на пересыльном пункте в порту Ванино», – сообщал Иванов.

Дальше шли потрясающие подробности: Корнилова, оказывается, в начале Отечественной освободили и тут же отправили на фронт: искупать.

Под Смоленском Корнилов попал в плен, в 1944-м освобождён, но проверку не прошёл и получил ещё 25. За то, что плохо искупал.

Так и пересеклись пути его с путями зэка Иванова.

«Своих стихов он мне не читал, но с наслаждением читал других поэтов. Больше всего он читал Твардовского. Все его поэмы он знал наизусть».

А умер, умер он как, когда?

Умер в 1949 году. Теплоход из Ванина прибыл в Магадан, Корнилов был сильно болен, спускаться ему помогал Иванов, можно сказать: тащил на себе. Уже на берегу тронул совсем отяжелевшего товарища, а тот – мёртв.

Бросились искать этого Иванова – пошли по указанному адресу. Явились – а там такого нет. И не было.

Кто же это написал? Кому надо будоражить близких, память, душу? Может, он сам сочиняет эти истории про себя и запускает в свет?

Рвануть бы занавеску, чтоб с хрустом оторвалась – чтоб не успел убежать, и крикнуть: Боря, прекрати! Боря, иди в дом! Живой, мёрт-
вый, иди, только не береди больше сердце.

Исходит кровью человек

Если говорить о поэтическом провидении – Бориса Корнилова надо приводить в качестве образцового и завораживающего примера.

Картины насильственной смерти наплывают одна на другую непрестанно.

Каждое третье стихотворение содержит ужас нежданной, неминуемой, отвратительной смерти.

1926-й:

И вот –

насилуют и режут,

И исходит кровью человек.

Вот он мечется,

И вот он плачет,

Умирает, губы покривив,

И кому-то ничего не значит

Уходить запачканным в крови.

Отойдёт от брошенного тела

Так задумчиво и не спеша

И, разглядывая, что он сделал,

Вытирает саблю о кушак.

1927-й, «Обвиняемый»:

Я буду суду отвечать

За оскорбление словом,

И провожает конвой.

У чёрной канвы тротуара,

Где плачут над головой

И клён, и каналья гитара.

1928-й, стихи о войне, но:

Вот и вижу такое дело –

кожу снятую на ноже,

загоняют мне колья в тело,

поджигают меня уже.

1929-й, стихи про лес, но:

Тебе, проходимец, судьбою,

дорогой – болота одни;

теперь над тобой, под тобою

гадюки, гнильё, западни.

Потом, на глазах вырастая,

лобастая волчья башка,

лохматая, целая стая

охотится исподтишка.

В том же году стихи про пожар, но:

Огонь проходит сквозь меня.

Я лёг на пути огня,

и падает на голову головня,

смердя,

клокоча

и звеня.

А в 1930 году появились строки, от которых уже не жар, а мороз по коже:

Белая полночь ясна,

Она меня спрятать не может,

Она застывает, над миром вися,

И старые ставни колышет,

Огромная вся и ненужная вся,

Она ничего не услышит.

И звякнет последняя пуля стрелка,

И кровь мою на` землю выльет;

Свистя, упадёт и повиснет рука,

Пробитая в локте навылет.

Или – ты подумай –

Сверкнёт под ножом

Моя синеватая шея.

И нож упадёт, извиваясь ужом,

От крови моей хорошея.

Потом заржавеет,

На нём через год

Кровавые выступят пятна.

Я их не увижу,

Я пущен в расход –

И это совсем непонятно.

Годом позже, в 1931-м:

Засыхает песня,

Кровоточит рана,

червячки слюнявые

в провале синих щёк;

что не говорите,

умираю рано,

жить да жить бы,

ещё бы…

ещё...

И в том же стихотворении:

– Купите бублики,

гоните рублики, –

песня аховая течёт,

и в конце концов от республики

мы получим особый счёт.

Ну и какой он, этот счёт?

Скажет прямо Республика:

– Слушай,

слушай дело, заткнись, не рычи –

враг на нас навалился тушей,

вы же пьянствуете, трепачи.

Пота с кровью солёный привкус

липнет, тело моё грызя… –

И отвесит потом по загривку

нам раза

и ещё раза.

Они действительно весело пьянствовали – в том числе с закадычным другом Павлом Васильевым, поэтом, и ещё с одним – Иваном Приблудным, опять поэтом, и ещё с третьим – Ярославом Смеляковым, тоже поэтом.

Смелякова заметут за решётку на долгие годы.

А по другим загривкам отвесят так, что загривки вдрызг.

Всё припомнит – растрату крови,

силы, молодости густой,

переплёты кабацкой кровли

и станков заржавелый простой.

Покачнёмся и скажем:

– Что ж это

и к чему же такое всё,

неужели исхожено, прожито

понапрасну, ни то ни сё?

Ни ответа,

ни тёплой варежки,

чтобы руку пожала нам,

отвернутся от нас товарищи

и посмотрят по сторонам».

Так и было, посему:

Но, кичась непревзойдённой силой,

я шагаю в тягостную тьму –

попрощаться с яблоней, как с милой

молодому сердцу моему.

Стихотворение «Смерть», год 1931-й:

Может быть,

а может быть – не может,

может, я живу последний день,

век недолгий мой – выжат, прожит,

впереди тоска и дребедень.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но нелепо повторять дословно

старой аналогии приём,

мы в конце, тяжёлые как брёвна,

над своею гибелью встаём.

И ещё такая зарисовка:

И когда меня,

играя шпорами,

поведёт поручик на расстрел, –

я припомню детство, одиночество,

погляжу на ободок луны

и забуду вовсе имя, отчество

той белесой, как луна, жены.

Стихотворение, между прочим, автобиографическое – посвящено оно жене, с которой расставался; а то, что поручик в финале появляется, – так кого ж Корнилов мог вписать в 1931 году? Не оперуполномоченного же. Поручики между тем все давно перевелись ко времени написания стихов.

В 1932 году снова пророчествует:

Мы в мягкую землю ушли головой,

нас тьма окружает глухая,

мы тонкой во тьме прорастаем травой,

качаясь и благоухая.

И ещё, в том же году:

Ты низвергнут в подвалы ада,

в тьму и пакостную мокреть,

и тебе, нечестивцу, надо

в печке долгие дни гореть.

В 1933-м:

Пронесу отрицание тлена

по дороге, что мне дорога,

и уходит почти по колено

в золотистую глину нога.

Это что ж такое: несёт отрицание тлена – а сам уходит под землю одновременно, в золотистую глину?

А вот ещё точнее и ужаснее:

Луна удаляется белым,

большим биллиардным шаром –

и скоро за скрюченным телом

телегу везёт першерон.

Дрожит он атласною кожей,

сырою ноздрёю трубя,

пока покрывают рогожей

на грязной телеге тебя.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И я задыхаюсь,

доколе

мне сумрак могильный зловещ.

Опишут тебя в протоколе,

как больше не нужную вещь.

Покуда тебя до мертвецкой

трясут по рябой мостовой –

уходит походкою веской

убийца растрёпанный твой.

Или, как это вам, признание:

А я пойду погуляю – меня окружает усталость

хандрой и табачным дымом,

а трубка моя пуста,

мне в этой жизни мало чего написать осталось,

написано строк четыреста,

ещё не хватает ста.

Тут, как ни удивительно, даже математически почти всё сходится. Корнилов писал стихи с 1925 года. Если отмерять по сорок пять строк в год, то к 1933-му, когда были сочинены эти стихи, как раз получается четыреста с небольшим строк. Писать ему оставалось до 1936-го – три года. То есть ещё как раз те самые сто срок, и небольшой запас в одно лирическое стихотворение: может, дадут досочинять, пока поволокут на убой.

Идём дальше, год 1934-й:

Я скоро погибну

в развале ночей.

И рухну, темнея от злости,

и белый, слюнявый,

объест меня червь, –

оставит лишь череп да кости.

Я под ноги милой моей попаду

омытою костью нагою, –

она не узнает меня на ходу

и череп отбросит ногою.

Тяжесть его неизбывна:

Гуси-лебеди пролетели,

чуть касаясь крылом воды,

плакать девушки захотели

от неясной ещё беды.

Да ты свою беду уже описал сорок раз, Боря.

В следующем же стихотворении, вот она, описана с натуры, твоя беда:

Приснился сон хозяину:

идут за ним, грозя,

и убежать нельзя ему,

и спрятаться нельзя.

В 1935 году – очередная картина:

Петля готова.

Сук дубовый тоже,

наверно, тело выдержит –

хорош.

И вешают.

И по лиловой коже

ещё бежит весёлой зыбью дрожь.

И вот такая:

Я гляжу, задыхаясь,

в могильную пропасть,

буду вечно, как ты,

чтоб догнать не могла

ни меня,

ни товарищей

подлость

и робость,

ни тоска

и ни пуля из-за угла.

И, за шаг до собственной гибели, стынущей рукой, неживыми словами, Корнилов описывает Пушкина, как себя, как себя самого:

И сердце полыхает жаром,

Ты ясно чувствуешь: беда!

И скачешь на коне поджаром,

Не разбирая где, куда.

И конь храпит, с ветрами споря,

Темно,

И думы тяжелы,

Не ускакать тебе от горя,

От одиночества и мглы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но вот шампанское допито…

Какая страшная зима,

Бьёт бубенец,

Гремят копыта…

И одиночество…

И тьма.

Копыта гремят – это воронок громыхает на ближайшем повороте к дому.

Житие молодое

Не надо так много смерти, дайте немного жизни, воздуха, природы.

Природы вокруг было – до самого неба.

Керженские леса, река Керженец – вечная тайна, тишина. Сюда бежали старообрядцы, и веками их не могли найти (хотел бы Боря – тоже бы спрятался, и не разыскали бы, так и жил бы до ста лет, а то и до
сих пор).

По лесу тут ходит сохатое, косматое зверьё. Деревья стоят неколебимо, пока река не выводит русло к самой береговой сосне – и, глянь, а сосна уже накренилась, а на другой год стоит косо над водой и в воде отражается, смотрит с удивлением на себя, а в третий уже лежит посреди реки – разлохмаченное, недоброе, ослизлое – берегитесь, рыбаки.

Подростки ныряют с деревьев в быструю воду.

В деревне Анниковке Нижегородской губернии, близ города Семёнов, жил такой Тарас Яковлевич Корнилов – со своею семьёю, баба-жена и пять сыновей: Константин, Алексей, Семён, Василий и Пётр. Жили, как многие: своего земельного надела не было, хозяйства не имели, зарабатывали на хлеб изготовлением ложек, которые сдавали купцу-ложкарю.

Это занятие в семёновском уезде было не редким. Промышляли здесь таким образом многие. В год семёновские ложкари, в том числе Корниловы со своей лептой, сдавали до… 170 миллионов ложек!

Четверо из сыновей Тараса Яковлевича были неграмотные. Научился читать псалтырь только младший, Пётр.

В соседнем селе Перелаз открылась церковно-приходская школа, учитель уговорил Тараса Яковлевича отпустить Петра учится: ложкарей и без него хватает.

Во время учёбы Пётр заболел оспой: уездный врач Евгений Иванович Самосский, пока выхаживал подростка, удивился его смышлёности и, когда Петр пошёл на поправку, предложил Тарасу Яковлевичу забрать младшего сына в Семёнов – такому умному сыну, сказал, прямая дорога в уездное училище.

Пока шла учёба, Пётр жил на средства врача – практически он был усыновлён этим сельским интеллигентом.

После окончания училища – двухгодичные курсы учителей начальных классов в Нижнем Новгороде.

Так Пётр Тарасович первым из многих и многих поколений выбился, как это называлось, в люди. За спиной – неразличимый, чёрный крестьянский, потерявший очертания, род, а он – вот, стоит посреди класса, разговаривает с детьми, и дети внимают ему.

Пётр Тарасович был определён в земское училище деревни Безводное Семёновского уезда.

Два человека сделали его судьбу – церковно-приходской учитель и уездный врач, – а так бы делал и Пётр Корнилов ложки. И будущий сын его Борис – занимался бы тем же самым; разве что иногда приговаривая себе под нос что-нибудь складное.

В каникулы молодые учителя собирались на обмен опытом – там Пётр Тарасович познакомился с Таисией Михайловной Остроумовой – учительницей из села Покровского.

Таисия Михайловна была дочерью небогатого семёновского купца, начавшего приказчиком в мануфактурном магазине и открывшего своё дело. В семье её было 12 человек, пятеро из них умерло в детстве. Грамоте из семи обучились двое – Таисия и её сестра.

Таисия Михайловна окончила в 1902 году Семёновское второклассное училище и получила право преподавать в церковно-приходской школе.

Два молодых учителя, Пётр Тарасович и Таисия Михайловна, поженились в 1906 году, 6 октября. Ребёнок был зачат чуть ли не в саму брачную ночь – он появился через девять месяцев и одну неделю.

В буквальном смысле Корнилов не был крестьянским сыном (как, кстати, и Сергей Есенин): он был крестьянского рода – ребёнком сельской интеллигенции в первом поколении.

Борис Корнилов родился 16 июля (по новому стилю – 29-го) 1907 года в так называемой «Красной больнице» города Семёнова.

Роды принимал всё тот же Евгений Иванович Самосский – когда-то давший путёвку в жизнь отцу.

Ребёнка крестили на следующий день после родов, 17-го, в Вознесенском соборе города Семёнова.

Крёстными записали – на всех правах – Евгения Ивановича и жену земского фельдшера Фиону Лукьяновну Светлову.

Метрическая книга гласит: «Обряд крещения проводили священник Константин Милотворский, диакон Фёдор Чижов, исполняющий обязанности псаломщика Павел Фиалковский».

Можно было подумать, что потом, в своих стихах Борис Корнилов немного мифологизировал место рождения:

Мне не выдумать вот такого,

и слова у меня просты –

я родился в деревне Дьяково,

от Семёнова – полверсты.

На самом деле у него было «Я крестьянил в деревне Дьяково», но во время публикации (Литературный современник. 1935. № 6) редактор исправил «я крестьянил» (правый уклон, и вообще кулацкие мотивы уже отдалённо маячат) на «я родился» – из этого стихотворения недостоверные сведения ушли гулять по словарям.

Молодые родители обратились в уездный отдел народного образования с просьбой назначить их на работу в одну школу.

Им дали направление в деревню Кожиху Семёновского уезда.

В Кожихе семья Корниловых прожила до 1910 года.

Мать рожала каждый год: в 1908-м – Лизу, в 1909-м – Шуру.

В 1910-м Корниловы переехали в Дьяково – фактически пригород Семёнова.

Школа была в отдельной усадьбе, на краю Дьякова. Одноэтажное деревянное здание, крытое железом, обнесённое тёсовым забором. В одной половине – классы, в другой – квартира учителей.

В усадьбе: баня, колодец, хлев для скота, огород.

Вечно грязная дорога мимо дома, дальше – лес, лес, лес.

Жизнь сельских учителей была не сахарная: школа, свои малые дети, скотина, школа, дети, скотина – сплошная круговерть. Лишних денег не водилось.

Занятия, которые вели родители, шли одновременно в трёх классах.

С 1912 года пятилетний Боря – а чего шляться без дела – ходит на занятия; к первому классу он подготовился самоучкой.

Читал Бичер-Стоу, Луи Жаколио уже в этом возрасте.

Библиотеки не было: все книжки помещались в одной бельевой корзине, на новые книги не хватало денег.

Хотя рисовать в сирых тонах всё детство не стоит, конечно. Жили, как все, и всему было место.

Соседка Татьяна Васильевна Осмушникова, вспоминала: «Я была на три года моложе Бориса. В летнее время я часто со своими подружками ходила в близлежащий лес за ягодами. А чтобы пройти в лес, нужно было идти мимо Дьяковской школы. И в этот момент почти всегда, откуда не возьмись, подбегал к нам Борис, брал то у одной, то у другой из нас корзины и бросал их в разные стороны. Мы начинали их собирать, а Борис заливался смехом».

В 1913 году, среди приложений к журналу «Нива» он нашёл стихи Пушкина – и написал первое своё стихотворение «Смерть поэта».

Пушкин остался любимым поэтом, как уверял потом Корнилов, навсегда.

В детстве знал наизусть большие куски из «Полтавы» и «Медного всадника».

Начал, где мог, сам добывать книжки – читал порой, как говорила мать, в ущерб детским играм. Отец подарил том Гоголя.

Но помимо книг до завистливого мальчишеского спазма взволновало ещё вот что.

Автобиография Корнилова:

«Я вырос в деревне, где по вечерам после работы парни ходят толпой по улице и под гармонику поют песни. Они поют о любви, об измене девушки, о драках.

Часто песни сочинялись тут же на ходу. Парней они бодрили и волновали, нас – мелочь – они переполняли гордостью: мы имели право петь о таких взрослых вещах. Мы были неравнодушны к этим песням – воздействие стихов удивляло меня. Я с благоговением смотрел на идущего впереди всех, даже впереди гармониста, парня. Это шёл сочинитель. Он был выше гармониста. Он задумывался, гармоника замолкала, он встряхивал кудрями – получалась песня.

<...> Я был подавлен силой поэтического языка...»

Тоже захотел – чтоб так же идти, чтоб все смотрели, чтоб впереди гармониста, чтоб со своими, собственными, ни на кого не похожими словами.

Осталось найти слова.

«В один памятный мне день, выйдя на улицу, я не услышал ни одной знакомой мне песни. Это был день объявления войны. И кругом пели о разлуке, о том, что "Сормовска дорога вся слезами залита, по ней ходят рекрута". В один день смыло все старые песни, на их место встали новые. Поэзия была злободневна. Через несколько месяцев убили нашего поэта, но песни рождались одна за другой, они пели о Карпатах, о германце, о том, чем жил в это время человек...»

В 1914-м – отца забирают в армию, на фронт.

Про отца он говорил потом: «Самый хороший человек и товарищ для меня».

На фотографиях Пётр Тарасович – красивый мужчина, не крестьянского вида, очень умный и внимательный взгляд, видно, что родовая кровь намывала, намывала из поколения в поколения – и вдруг объявился русский интеллигент, думающий, сострадающий, чувствующий.

Об отце на войне у Корнилова в стихах нет ничего – ни Первой мировой, которую сначала называли Отечественной, а потом – Империалистической, ни, более того, семейных историй о Гражданской.

Отца не было год, и два, и три. Грянула первая революция, затем вторая – а отца всё нет. Куцые вести доходили – воюет то здесь, то там, болел тифом, вылечился, опять под ружьём.

Шесть лет кружились одни – и это были самые тяжёлые годы. Без отца, три ребёнка – выжили материнской колготой, чудом, ежедневным трудом.

Кругом – Россия.

Нищая Россия,

ты житницей была совсем плохой.

Я вспоминаю домики косые,

покрытые соломенной трухой.

…………………………………...

Молчали дети – лишняя обуза, –

а ты скрипела челюстью со зла,

капустою заваленное пузо

ты словно наказание несла.

Врач Самосский, всё тот же Евгений Иванович, интеллигентный семейный ангел, дал взаймы – купили лошадь, не на детях же пахать.

В стихах Корнилова радужного детства нет, идиллических картин тех лет – не появится никогда.

Рожь, овёс, картошка, работа-тягота, сестрёнки малолетние сопливые, вечно голодные: поэтизировать можно то, чем по случаю занимаешься, а не где вкалываешь с тех пор как себя помнишь.

Мы живали только впроголодь

на квартире у беды,

мы ходили только около,

возле хлеба и воды,

– так и было.

Мать вспоминала, что Боря очень любил лошадь: «...сам, ещё до школы, запрягал, кормил и водил её в поле».

Ещё из стихов:

Я в губернии Нижегородской

в житие молодое попал,

земляной покрытый коростой,

золотую картошку копал.

Я вот этими вот руками

землю рыл

и навоз носил,

и по Керженцу

и по Каме

я осоку-траву косил.

Тут рисовки нет никакой. Копал, рыл, косил – недоедал, высоким не вырос, зато заимел крепкую осанку: мужской труд сызмальства.

Отца демобилизовали в 1920 году. Он вернулся в Дьяково.

Литературная способность

С 1921 года Борис учится в городской «десятилетке» – так как пошёл в школу раньше положенного, все одноклассники старше его на год-два.

До школы ходил пешком из Дьякова – километра три.

Сидел на последней парте среднего ряда. Хоть и был самый низкорослый в классе, со всеми сошёлся – развитый, подвижный, остроумный, всех смешил. Рубаха-парень.

Отлично декламировал – часто просили читать вслух. Некоторое время имел прозвище Наль – по герою баллады Жуковского «Наль и Дамаянти» – чтение этой баллады Корнилову особенно удавалось.

В 1922-м на семейном совете семья Корниловых решает перебраться в Семёнов.

Петр Тарасович идёт в детдом воспитателем, мать – учительницей начальных классов в деревне Хвостиково.

Для начала сняли квартиру на улице Сластенинской (ныне улица Ванеева).

Затем, продав лошадь, корову и швейную машину, Корниловы купили маленький домик – одно окошко во всю стену! – на улице Крестьянской (ныне – улица Бориса Корнилова).

Вся семья спала на полу – кровати ставить было негде.

Отец, чтоб как-то выкарабкиваться, начинает подрабатывать извозчиком.

Борис вступает в первый пионерский отряд города Семёнова, насчитывавший тогда всего 30 человек – собственно, а куда ещё мог вступить парень, чьи дядья и тётки были неграмотны и всегда жили в суровой скромности?

Пионерия была – как разгон в новую жизнь.

Ещё в школе начинает сочинять стихи. Мать, Таисия Михайловна, свидетельствует: «Всегда ходил с тетрадкой и блокнотом. Чаще всего написанное прятал или рвал, за что мы на него обижались».

Одноклассник Константин Мартовский вспоминал пионерские забавы той поры – марши, военные игры: руководил пионерией старший друг Корнилова – Василий Молчанов, успевший повоевать в Гражданскую:

«И вот мы под предводительством Молчанова, прижимаясь к заборам небольшой цепочкой, пробираемся в сторону кладбища <...> Прибежавшие разведчики докладывают: "Противники скрывается в тени кладбищенских деревьев". Спрашиваю ребят, кто командует противником. Говорят – Борька Корнилов. Спрашиваю, кто такой. Отвечают: "Да который стихи-то пишет..."

Рассыпались в цепь. По всем правилам военного искусства начинаются перебежки в сторону кладбища. Навстречу нам тоже перебегают тёмные фигуры. И вдруг оттуда раздаётся звонкий и какой-то радостный голос:

– За мной, корниловцы!»

Ничего так шуточка.

Мартовский описывает Корнилова как «смуглого и коренастого».

Школа имела педагогический уклон – по окончании её Корнилов тоже, как отец с матерью, стал бы сельским учителем начальных классов.

Иногда утверждают, что в 14 лет вместе с Василием Молчановым Борис вступает в ЧОН – части особого назначения. Упомянутый Мартовский пишет, что Корнилова видели с винтовкой в компании чоновцев.

Роты ЧОНа, начиная с 1919 года, создавались в губернских и уездных городах, при заводах, фабриках, райкомах, – будущих бойцов обучали первичным навыкам военного дела и направляли отстаивать революцию: охранять порядок, давить кулацкие банды и вообще всех недовольных, если таковые обнаружатся, ловить дезертиров.

Город Семёнов не находился в эпицентре классовой борьбы, но жуткие истории случались и здесь.

Трое семёновских активистов – Никандр Завьялов, Иван Козлов, Анатолий Дельфонцев – слишком действенно агитировали за новую власть. Обозлённые местные крестьяне (по другой версии – участники банды, собранной бывшим белым офицером Чернигиным) их убили. Мало того: пилой распилили каждого на две части – то ли живых, то ли уже мёртвых, не поймёшь, – потом кровавые куски побросали в бурьян, а там парней ещё и зверьё обглодало.

Похороны устраивала семёновская ЧК. Один гроб был совсем маленький – погибшего сожрали волки, хоронить было нечего. Борис всё видел, хоронил убитых.

С бойцами ЧОНа он общался, несколько раз дежурил – с оружием! – в их месторасположении; может, даже выезжал с ними раз или другой по ближайшим деревням, но сам никогда не состоял в этой организации.

В ЧОНе действительно служил его ближайший друг Василий Молчанов – но тот на момент знакомства с Борисом оставил службу и перешёл на комсомольскую работу.

Одноклассницей Бори была девушка необычайной красоты, самая красивая во всей школе, звали её Таня Степенина. На год старше Корнилова. Приёмная дочь семёновского часовых дел мастера. Из зажиточной семьи – жили в двухэтажном доме. (Когда в 1930-е жильё у семьи Степениных конфисковали, одного их дома хватило на четыре квартиры.)

Борьку в дом даже не пускали. Родители её были против такого бесквартирного, безлошадного паренька, – голь, ложкари, – и дружить им не давали.

Зато она у него бывала – в маленькой квартире.

Вспоминала многие годы спустя, что Боря был горазд на зажигательные пионерские песни – распевал под барабанщика; даже имя
барабанщика помнила – Володя Марков. Третьим заправилой в компании был всё тот же Молчанов – он ещё и в стихи Корнилова попадёт потом.

На летние каникулы Таню, понимая, что вот-вот этот нахальный недоросток испортит девку, родители отправили в деревню Хахалы – за 30 километров от Семёнова. Но Борьке что? Ему нипочём – он туда пешком ходил.

У них была любовь, и взаимная.

После окончания в 1923 году восьми классов, Корнилов отказывается следовать по стопам родителей, в девятый класс, где начиналась учительская практика, не переходит – а устраивается на работу в ветеринарную лечебницу. Впрочем, едва ли и работу ветеринара мыслит он, как свою судьбу.

Борис теперь уже комсомолец, форсит в кожаной куртке (отцовской), некоторое время трудится пионервожатым в детском доме, затем переходит на должность инструктора Семёновского управления комсомола (уком), редактирует стенгазету «Комса» – которую сам и вывешивает при входе в городской сад.

За Рекшиским прудом, вспоминают, читал дружкам свои стихи. Никто, конечно, ничего не понимал, от этого было чуть тоскливо.

Товарищ, всерьёз читавший поэзию, был всего один – и тот поклонник акмеистов, Ахматовой – ссорились с ним чуть не до драки: Корнилов уже прочёл Багрицкого, Светлова, Уткина. И Есенина, конечно.

Даже Таня, Танечка Степенина – будто бы похожая на свою фамилию – степенная, по-крестьянскому породистая, сильный характер виден в безупречно выполненном девичьем лице, – и та слушала, но никогда про его стихи не говорила вслух.

Корнилов переходит на работу инспектора бюро пионеров, пробует что-то сочинять для местного театра.

Павел Штатнов, молодой человек 26 лет, один из организаторов литературной группы «Молодая рать», возникшей в Нижнем Новгороде в марте 1925-го, корреспондент одноимённой газеты, приехал в Семёнов в командировку в поисках новых талантов и увидел в «Комсе» стихи Корнилова.

В тот же день разыскал этого инструктора Семёновского укома комсомола и предложил опубликоваться в губернской газете – хотя, правду говоря, Конилову было ещё рановато печататься со своей патетичной комсомольской трещоткой.

Так или иначе, 25 апреля 1925 года в газете «Молодая рать» под псевдонимом Борис Вербин со стихотворением «На моря!» стартовал молодой человек, которого всего-то через несколько лет будут называть в числе главных поэтов Советской России.

А Вербин потому, что фамилия Корнилов показалась какой-то, что ли, непоэтичной.

15 мая тот же Вербин публикует в «Молодой рати» стихотворение «Года»:

Год – морщина, что вырубил голод,

Год – когда был повешен сын.

Год – когда на войну другого...

Год – когда он остался один.

29 мая – стихотворение «Пастух», 20 октября – «Строй!» – но подписывает «Б. Корнилов (Вербин)» – видимо, чтоб уже полюбившие Вербина за первые три стихотворения знали, что это он, он. 30 октября так же подписано стихотворение «Семь», 3 ноября – «Изба-читальня».

27 ноября, посчитав, что читатель уже понял, что Вербин это Корнилов – подписывает, наконец, только собственной фамилией – стихотворение «Ржаной комсомолец», а 15 ноября – «Радость».

Понемногу кружится голова, он торопится, ищет с кем поделиться, тащит газеты домой – показывает отцу, матери, сёстрам… Сёстры тоже ничего не понимают, чёрт.

И плохо, что никто ничего не понимает, потому что за одним единственным исключением опубликованные на тот момент стихи даже в первый сборник Корнилова не попадут.

Я знаю: вечер мне помог

В девчонку вклинить смелость,

Чтоб сжечь словами грусти стог

И комсомолкой сделать.

Вечер уже, пойдём в стог, сделаю тебя комсомолкой.

Корнилов сам понимает, что ему надо учиться, и вообще менять жизнь, иначе ничего не выйдет.

Подаёт заявление о том, чтобы его перевели в институт или литературную школу. Заявление рассмотрели в укоме комсомола – ну, свои все парни – и составили бумагу в губком: «Ходатайствовать перед
губкомом РКСМ об откомандировании Бориса Корнилова в государственный институт журналистики или в какую-нибудь литературную школу, так как у т. Корнилова имеются задатки литературной способности».

Это – советская власть, и немедленные результаты её работы – одарённого парня подталкивают, подсаживают: ползи, карабкайся, товарищ, вперёд и вертикально вверх. Много крестьянских детей командировали десятью или двадцатью годами раньше «в какую-нибудь литературную школу»?

...Существует миф о переезде Корнилова в Ленинград – и он куда красивее реальной истории, безо всяких там ходатайств, укомов и губкомов. Якобы Корнилов сорвался туда к Есенину – показать стихи своему кумиру, но... не застал его в живых.

Надо было сразу развернуться и уехать – дурной знак. Но не развернулся...

Всё это, конечно, не выдерживает никакой критики.

Во-первых, Корнилов и знать не знал, что Есенин в Ленинграде.

Жил Есенин в Москве. Сначала в съёмной квартире вместе с Анатолием Мариенгофом, потом в особняке своей жены Айседоры Дункан, потом у очередной жены – Софьи Толстой.

До недавнего времени в Москве у Есенина и его товарищей имелось личное кафе, личная книжная лавка, личное издательство.

Что за резон Корнилову искать Есенина в Ленинграде?

Да, Есенин появился там 25 декабря 1925 года, поселился в гостинице – но едва ли за это время в Семёнов дошли слухи о приезде Есенина –
тем более что уже через три дня Есенин в той же гостинице, в собственном номере покончил жизнь самоубийством.

И вот об этом Корнилов, отправившийся зимой 1926 года в Ленинград, наверняка знал. И надеяться застать в живых Есенина не мог никак.

Явилась смена

Сначала цитата.

...деревня, – предвижу с тобою разлуку, –

внезапный отлет одичавших гостей.

И тяжко подумать – бродивший по краю

поемных лугов, перепутанных трав,

я всё-таки сердце и голос теряю,

любовь и дыханье твое потеряв.

Следом важная дата.

18–31 декабря 1925 года состоялся XIV съезд ВКП(б), провозгласивший курс на индустриализацию. Корнилова неизбежно повлечёт по этому курсу, как и миллионы других.

Мучаясь от желанья сохранить «любовь и дыханье» деревни и одновременно отрекаясь от всего, что взрастило и выпестовало его, Корнилов будет писать и жить.

В Ленинграде остановился у тётки, Клавдии Михайловны, – наличие этой тётки и определило город, в который отправился Корнилов.

На месте не сидел – сразу, с деревенской наглецой и великим самомнением, шагнул в мир литературный.

Была в те годы группа «Смена» под руководством Виссариона Саянова (молодого ещё, но уже относительно известного 23-летнего поэта, автора одной книжки стихов). Корнилов двинул туда.

В 1924-м «Смена» была литобъединением, а в 1926 году стала литературной группой.

Заседали каждый вторник – сначала на Мойке, в Юсуповском дворце, где располагался Домпросвет, следом на Фонтанке – в Доме печати.

В группу входили поэты и прозаики Дмитрий Левоневский, Борис Лихарёв, Леонид Рахманов, Геннадий Гор... И молодая красавица, почти ещё девочка – Ольга Берггольц, прехорошенькая, с длинной густою косой и с характером. Ей ещё не было 16 лет. Гена Гор за ней трогательно ухаживал.

Берггольц вспоминала про «Смену»: «...приходила разная рабочая молодёжь: ребята и девчата с предприятий, порой едва владеющие правописанием, но слагающие стихи; были журналисты, студенты, многие –
комсомольцы, одетые с тогдашней естественно-аскетической простотой – в юнгштурмовках, в косоворотках, в толстовках...»

И дальше: «Все очень молодые и все – прямолинейно беспощадные друг к другу, потому что были беззаветно, бесстрашно, я бы сказала –
яростно влюблены в поэзию, и прежде всего в советскую, в современную нам поэзию... Да, много у нас тогда было лишнего – был и догматизм, и чрезмерная прямолинейность, и ошибочные увлечения (акмеистами, например) – я не хочу идеализировать даже любимую молодость нашу, но не было одного: равнодушия».

Ольга была на три года моложе Корнилова, с 1910-го, майская (родилась 3-го числа) – дочь фабричного врача Фёдора Христофоровича Берггольца и Марии Тимофеевны Грустилиной, детство провела в рабочем районе Петрограда, в Гражданскую мать увезла Олю и её сестрёнку в Углич, они жили в келье Богоявленского монастыря, семья была воцерковлённой.

После трёхлетнего отсутствия на фронтах вернулся отец, забрал семью обратно в Питер. Вчерашняя богомольная, ангелоподобная девочка становится пионеркой; публиковаться начинает, как и Боря, в стенгазете; первое известное стихотворение (1924 года) называется «Ленин». Первая серьёзная публикация – в газете «Ленинские искры» за 1 мая 1925 года – стихотворение «Песня о знамени».

В «Смену» пришла ещё будучи школьницей.

Корнилова увидела на первом же чтении: «...коренастый парень с немного нависшими веками над тёмными, калмыцкого типа глазами, в распахнутом драповом пальтишке, в косоворотке... Сильно по-волжски окая, просто, не зазывая, как тогда было принято, читал...»

Потом ещё вспомнит кепку, сдвинутую на затылок, – это важно, это характер и вызов.

«Он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что он читает, что я сразу подумала "Это ОН"».

На слушаниях присутствовало сразу человек семьдесят.

Корнилов начал со стихов, казавшихся ему самыми лучшими. Был уверен в своей силе, думал: все ахнут.

Усталость тихая, вечерняя

Зовёт из гула голосов

В Нижегородскую губернию

И в синь Семёновских лесов.

Сосновый шум и смех осиновый

Опять кулигами пройдёт.

Я вечере припомню синие

И дымом пахнущий омёт.

Берёзы нежной тело белое

В руках увижу ложкаря,

И вновь непочатая, целая

Заколыхается заря.

Здесь всё своё, родное, даже про ложкарей не забыл. Ну как?

За стихи ему попало хорошенько. Смех, говоришь, осиновый, омёт, кулиги? Есенинщина, понял?

«Были и защитники, конечно, но нападающая сторона преобладала...» – констатирует Берггольц.

До хрипоты спорили, кто главнее – Маяковский или Есенин. (Несмотря на то, что Николай Тихонов тогда уже многими был признан первым – тем более в Ленинграде, где он жил.)

Пойдёшь за Есениным – не закончишь ли, как он? – спрашивали Корнилова.

Прочитанные стихи действительно были подражательными, но ругали не за это, или не только за это. Ругали за то, что такую Россию, что описывал Корнилов, эти малолетки в косоворотках не просто не знали – знать уже не хотели.

Плохо ли это? Не совсем. В той России, которую описывал Корнилов, не хотелось жить – она уже была – хотелось жить в новой и небывалой. Их можно понять, молодых, первое поколение, выросшее после революции.

Корнилов тогда мог подумать, что только здесь такие чудаки собрались, в «Смене», – а они будут за ним по пятам идти все последующие годы, и далеко не только молодые.

Но зато ведь тут была эта, глазастая, с косичками, острогрудая, глаз от неё не отвести.

(Хотя Таня – Таня ведь ждёт в Семёнове!)

После одного из заседаний, весной 1926-го, шагнул к Ольге, заговорил, с какой-то попытки даже рассмешил – хотя она обычно строгая, малосмешливая, разве что если вдруг нападёт настроение.

Гену, который путался под ногами, Корнилов отвадил: «Иди, как там тебя, покури, мне надо сказать тут… Не куришь? Ну, так постой. Иди, говорю, там про твои сочинения говорят вроде».

И Ольга за Гену не заступилась.

Боря попробовал поцеловать её в губы – а она оттолкнула его. Взял за руку – а руку не отняла.

Так и стали, как тогда это называлось, «ходить». Один – наглый юнец, кепка на затылке, другая – почти ребёнок.

Но на людях не показывали, дружили в сторонке, не на глазах, таились.

(В дневнике потом Берггольц опишет: «Борис ревновал меня, целовал и наваливался, и мне было очень страшно и стыдно от его большого, тяжёлого и горячего тела. Я была маленькая ещё...»)

Ухаживание длилось год! Советская девушка – к тому же воспитанная в монастырской келье.

В 1927 году «Смену» пополняют поэты Илья Авраменко и Александр Гитович. Туда заезжает в гости Эдуард Багрицкий – как и Корнилов, тот готовит к выходу всего лишь первую книгу, но в отличие от Корнилова – он состоявшийся, великого дара поэт. Заходит Яков Шведов, будущий автор «Орлёнка» и «Смуглянки-молдаванки».

И все на неё заглядываются, на Ольгу.

Корнилов не все.

Он настаивает: будешь моей, со мной.

Наконец, весной 1927-го, говорит: да. Буду. Твоя. Скоро.

Летом Корнилов едет навестить родителей, привозит ворох газет со своими стихами, хвалится, что готовит книжку... и вновь встречается с Татьяной, и в июле говорит ей, клянётся ей, что любит её. А она варит варенье, и убирает прядь с глаз локтем, и смеётся, и плачет – потому что не верит. И руки сладкие у неё. И её поцеловать – можно.

Ему 20, а ей 21, и она уже не может дожидаться его.

И правильно делает, – Боря возвращается в свой стылый Ленинград, и там у него снова Ольга, и он наконец добивается её.

Боря был её первым мужчиной. Первым и неуёмным.

В самом начале была у них страсть. Ольга любила его своим детским ещё, неразумным сердцем – и быть может, даже больше, чем её он.

Заглядывала в его нерусские глаза – откуда такие?

...Может быть,

На этом самом месте

Девке полюбился печенег.

Отлюбила девушка лесная,

Печенега полоня...

Умерла давным-давно, не зная

О глазах нерусских у меня,

– сочинит Корнилов.

В другой раз выдаст иную правду:

Я скажу тебе – не вымыслю,

Ты, пожалуйста, поверь –

Я татарин, только с примесью

и других ещё кровей.

Может быть, прабабка-пленница

зачала под гром копыт –

и во мне кипит и пенится

кровь Батыевой тропы.

То ли калмык, то ли печенег, то ли татарин – не разберёшь, сколько ни смотри.

Ольга знает про Татьяну – сам рассказал, да и письма от неё приходят, тем более что Боря на них ещё и отвечает. Но первое побуждение Ольги удивительно, она пишет:

Но в густую, яблочную осень,

В эту осень, отчего ты хмур?

Словно скука синебровых сосен

Привязалась к другу моему.

Словно хочет угадать разлуку,

Так он часто говорит о ней.

Как же мне сомкнуть сильнее руки,

Как же мне обнять его сильней?

Вот как: а могла бы от ворот поворот. Обожала.

10 сентября 1927-го Борис и Ольга, ещё не муж и жена, поступают на Высшие государственные курсы искусствоведения (ВГКИ) при Государственном институте истории искусств – ходят учиться в особняк графа Зубова на площади Воровского. Слушают лекции Бориса Томашевского, Бориса Эйхенбаума и Юрия Тынянова, попадают на выступления Маяковского, Иосифа Уткина и Виктора Шкловского, рассказывавшего тогда о кино.

Ольгу в те дни запомнили такой: «...она была прямодушна, честна, бескомпромиссна, непримирима, последовательна в любви и в неприязни. Её ум и в те дни был ясен, остёр, её ирония была и лукаво дружелюбна, и откровенно язвительна. Она был страстным полемистом и убеждённым спорщиком. Её прелестное тонкое и светлое лицо часто и естественно освещалось улыбкой, поражало и привлекало своей подвижностью, выразительностью, отражением напряжённой внутренней жизни» (это из воспоминаний Иосифа Гринберга).

Курсы были и увлекательны, и удивительны одновременно. Увлекательны оттого, что там преподавали великие интеллектуалы и мастера, и науки эти были Корнилову в новинку (отчитывался Тане Степениной в письме о посещаемых лекциях: «1-я психология, 2-я политэкономия. Завтра исторические материализм и ещё что-то...»). А удивительны потому, что никакой программы в этом учебном заведении не было вообще – и каждый рассказывал, в сущности, что хотел.

Корнилов, надо признать, так и не получил хоть сколько-нибудь цельного и разностороннего образования: хватал на лету, тем и жил.

Он активно публикуется – в газете «Смена», издаваемой литературным объединением, пригревшем его, в «Ленинградской правде» (и перепечатывает стихи оттуда в «Нижегородской коммуне», чтобы удвоить гонорар, в надежде на то, что никто ничего не заметит – и вроде не замечают), в журналах «Юный пролетарий» и «Резец». В серьёзные
журналы его пока не берут. Зато в «Резце», в декабрьском номере за 1927 год, новый глава объединения «Смена» В. Друзин публикует свою статью о трёхлетии этой литературной группы с фотографией её участников, где можно разглядеть и Ольгу, и Бориса.

В «Смене» Корнилов, шаг за шагом, занимает всё более крепкие позиции – его оспаривают, но и мастерство его растёт, и это очевидно.

Гор – и тот спустя время признает, что Корнилов был «эмоциональным началом, романтической душой, стихией группы». Приехал из своей деревни – стал среди десятков юных и даровитых первым: шутка ли?

А если за что ругали – он и сам, на крепком поводу у времени, вроде бы, меняется.

Чтоб девушку эту

никто не сберёг –

Ни терем и не охрана,

Её положу на седло поперёк,

К кургану помчусь от кургана.

И будет вода по озёрам дрожать

От конского грубого топота.

Медвежьею силой

И сталью ножа

Любимая девушка добыта…

Ну, где им

размашистого догнать?..

Гу-у-уди, непогодушка злая…

Но, срезанный выстрелом из окна,

Я падаю, матерно лаясь.

Горячая и кровяная река,

А в мыслях – про то и про это:

И топот коня,

И девичья рука,

И сталь голубая рассвета,

А в сердце звериная, горькая грусть, –

Качается бешено терем…

И я просыпаюсь.

Ушла эта Русь, –

Такому теперь не поверим.

Это его «я просыпаюсь» – жестокое пробуждение. Словно открывает глаза в новом мире, который ещё не известен. Терем, как символ прошлого, качается – причём именно что бешено, и Корнилов словно заклинает себя: этой Руси больше не будет, я не верю в неё, не верю.

Хотя сам – верит, иначе бы не писал, и не были бы настолько полны вольнолюбием, гоном печенежской крови и страстью эти молодые стихи.

Процитированный «Терем» написан в 1926 году и тогда же опубликован в «Юном пролетарии», а в 1927 году в журнале «Резец».

Характерно, что стихотворение о том же самом пробуждении – как о попытке очнуться и отречься от своей русской природы, – так и называющееся «Жестокое пробуждение», чуть позже напишет московский поэт Владимир Луговской. Совпадение? Или одно и то же чувство довлело над самыми одарёнными, самыми русскими, пытавшимися убежать от своей русскости – и не умеющими этого сделать навсегда, бесповоротно.

В 1927-м, в стихотворении «Айда, голубарь...» Корнилов уже поёт противоположное:

А нынче почудилось:

 конь, бездорожье,

Бревенчатый дом на реку, –

И нет ничего,

 и не сыщешь дороже

Такому, как я, – дураку...

От себя так сразу не отречёшься.

Разве что последовательно делать вид, что ты дурной, глупый и спроса с тебя нет.

Будет спрос, будет.

И большое начальство спросит, и маленькая жена – тем более что «бревенчатый дом на реку» – это ведь Боря всё про Хахалы вспоминает, куда по пять часов шёл из Семёнова к своей Тане.

В октябре ей пишет в письме:

«У меня сейчас все мысли вразброде. Одно только сознаю, что я очень, очень люблю тебя и променять на другую, может, красивую, умную – всё равно – не сумею…

Скоро мы с тобой будем совсем вместе. Я думаю, хорошо будет».

Словно уговаривает себя. Словно сам ещё не знает: хорошо ли? будет ли?

В январе 1928-го Борис и Ольга вдруг объявляют о свадьбе.

Яков Шведов признается: «Мы все были удивлены». Ребята в основном питерские, из города революции – а это кто? Из семёновских лесов, ложкарь?

Багрицкий что-то съехидничал в рифму. Корнилов иронично пожал плечами: «Извините, Эдуард... Георгиевич, вам уже, сколько там, тридцать три? Вы старый, как Иисус Христос. Дорогу молодым».

Фамилию Ольга оставляет отцовскую – Берггольц. Проявила характер. Она и впредь станет блюсти свою самость, независимость. Хотя, с другой стороны, зачем нужны сразу два одинаковых поэта – Корнилов и Корнилова? Пусть будут два разных.

Причина скороспелой свадьбы была проста: беременность.

В том же январе у Корнилова выходит первый сборник стихов «Молодость», с хилым деревцем, изображённым на мягкой обложке, в ленинградском издательстве «Красная газета» в серии «Книжная полка Резца» (под № 3). Редактировал книжку лично Виссарион Саянов. «Молодость» посвящена Ольге Берггольц. Под посвящением строчки из Багрицкого:

Так бей же по жилам,

Кидайся в края,

Бездомная молодость,

Ярость моя...

Борис немножко поторопился с книжкой, много слабого там, юношеского, плохо вылепленного – но имеются уже и шедевры, такие как «Лесной дом» и «Лирические строки» – про Таню, между прочим, Степенину: «И ты заплачешь в три ручья, / Глаза свои слепя, – / Ведь ты совсем-совсем ничья, / И я забыл тебя».

Пара селится с родителями Ольги.

18 октября 1928 года у них рождается дочка – назовут Ириной. Белокурое ангельское создание, на маму похоже, но с папиными глазами: хоть открытки печатай и продавай по рублю.

Жизнь разворачивается, раскручивается, бьёт по жилам.

Корнилова уже знает весь читающий Питер, о нём идут толки. Бывает так: он сидит на какой-нибудь вечеринке пролетарско-богемно-поэтический, а вокруг говорят: «Сейчас Корнилов придёт, сейчас тот самый Корнилов явится».

А он уже явился.

Треугольник, четырёхугольник, многоугольник

В октябре 1928-го начинаются легкие неприятности у литобъединения «Смена». Группу всё чаще обвиняют в формализме, а именно – в пристрастии к акмеизму, «в отрыве от политических задач», «отсутствии классового мировоззрения». Причём периодически достаётся именно Берггольц, как самой легкомысленной. Мудрено ли – ей всего 18 лет: политические задачи не самые первые в списке её интересов, хотя, с другой стороны, и она политизирована, и ярко верит в свою страну.

Корнилову тоже попадает, но меньше.

Рецензии на его первую книжку, в целом, положительные. По крайней мере не разносные. В «Звезде» вышла одна, другая – в «Смене».

Пишут, что из литобъединения «Смена» Боря Корнилов – самый ничего себе. Лирический парень такой. «Музыку» отмечали, сказали: Есенин преодолён.

Всё в порядке, в общем, надо работать, причин для грусти нет. Когда бы не семейная жизнь!

Отношения между Борисом и Ольгой сразу пошли наперекосяк. Чего там только не было намешано.

Для начала, оба, наверное, оказались не очень готовы к ребёнку.

Борис не пришёлся по нраву богомольной родне Ольги, и матери, и бабушке, и тёткам – он-то, как положено вчерашнему комсомольскому вожаку, был воинствующим атеистом.

Молодой папаша бродил по своим делам, понемногу накидывал за воротник.

Ольга в дневнике называет дочку: «сторож» – и обожает при этом, хотя иногда словно уговаривает себя, рассказывая, как любит свою Иру. И дальше снова: «Ребёнок поглощает всё моё время. Я связана по рукам и ногам».

Денег у молодых нет – берут взаймы у матери Ольги (через несколько месяцев совместной жизни должны уже 150 рублей – по тем временам заметная сумма).

Отец Берггольц, Фёдор Христофорович ставит дочери на вид: сидишь на шее у матери, ни черта не зарабатываете, поэты, а сам при этом пьёт и гуляет.

Наконец, какие-никакие, но дела у Корнилова шли всё лучше – а у Берггольц пока нет. Он уже нашёл свой голос, его влекло по дороге, которую он предчувствовал, осознавал, а она про себя не понимала: какой быть, как писать, где её интонация.

Она не ревновала мужа к успеху, и даже напротив – гордилась, по крайней мере, пока испытывала к нему любовное чувство, но одновременно с этим пребывала в терзаниях, что её время проходит впустую, ничего не получается, а должно бы.

Впрочем, всё это фон.

Главной причиной разлада была обоюдная и вполне обоснованная ревность.

Корнилов помнил свою Таню и тосковал о ней. Кажется, что в Семёнове он оставил что-то большее, чем получил здесь. Та – ласковей, мягче, податливей, эта – резче, обидчивей и с самого начала даёт ему почувствовать, что не одним им мир полон.

Ольга заглядывает в чемодан мужа, обнаруживает там продолжение его переписки с бывшей. Читать не стала, сдержалась, но за одну строчку зацепилась, письмо Степениной заканчивалось так: «Целую. Твоя Танюрка». А до этого, посреди страницы, вопрос: «Любишь ли меня, Боря?»

Значит, он ещё не порвал с ней. А в стихах писал, что забыл. Не забыл.

Ольга, как заговорённая, сотню раз за день повторяет: «Целую. Твоя Танюрка. Целую. Твоя Танюрка. Целую-твоя-Танюрка. Целуютвоятанюрка. Целуютвоятанюркацелуютвоятанюрка».

Сама, впрочем, тоже хороша; записывает в дневнике: «...чувствую, как накопляется во мне электричество: хочется дурить, бузить, флиртовать, хочется авантюры, много весёлости. Борис однообразен и порою нуден: он больше всего боится моих измен, поэтому исключает весёлые минуты с другими. Но видеть только друг друга… Нет, я люблю его, но одно и то же в течение N`ого срока?»

И ещё признаётся, говоря о муже: «Мне хочется мучить его, говорить колкости».

Это ещё ладно. Берггольц нарочно даёт ему дневник читать – чтоб знал.

В декабре 1928-го – дочери всего два месяца – Корнилов грозится: уйду!

Ольга то останавливает молодого мужа, то говорит: иди куда хочешь, у тебя кольцо лежит, подаренное твоей Танюркой – отчего ж ты кольцо ей не вернул?

И эти качели раскачиваются месяцами, непрестанно.

«Наверное, это ревность, хотя мне кажется, что не люблю его», – пишет Берггольц в дневнике.

«Когда он в тот день бился и плакал около меня, и уверял, что много, единственно любит, у меня было одно тоскливое желание: никого, никого не любить, ни его, ни дочь, никого. Ну вот, Ирка проснулась».

«Какая скотина Борис… Сволочь. Не люблю! Безденежье».

«Ночи с Борисом не приносят мне радости».

Но уже через несколько дней, другое: «Я хочу тягостно-сладких ночей с ним, бесстыдных, сладострастных и мучительных».

Потом заново:

«...ушёл, нехорошо обругав меня. За мелочь. Мы стали такие раздражительные и злые».

«Мне кажется, что я не люблю его. Тягостно. Да скучно.

Читала опять Татьянины письма. Надо опять забраться к нему в чемодан. Завтра же сделаю это, когда встану кормить Ирку. Гнусность какая. Ну и наплевать. На всё наплевать».

С какого-то времени у Берггольц появляются какие-то «лирические герои», к которым её влечёт. Сначала некий Митя, художник, который желает её рисовать, и ей хочется, чтоб её рисовали: «Пусть Борька визжит».

Затем Ольга сразу берёт много выше: Николай Тихонов – поэт, на тот момент по праву претендующий на главенство в литературе наряду с Маяковским, Пастернаком, Сельвинским, к тому же женатый.

Ольга несёт ему стихи. И торопливо записывает:

«Конечно, у меня нет никакого желания "пленить" Тихонова ("обжиг бога"), но в то же время как бы и есть <...> Я хотела бы быть «душой общества» в лучшем смысле этого слова. Очень. Я хотела бы быть окружённой особенным каким-то вниманием и, пожалуй, обожанием…

Борька говорит, что очень любит меня. Его родня тоже. А мне этого мало. Ма-ло».

В феврале 1929-го Ольга разыгрывает Корнилова – шлёт ему письма от имени некой Галины В.: «Борис, желаю с вами познакомиться». Он, дурья голова, взял и купился, ответил: приглашаю вас, Галя, на свидание.

Ольга устроила скандал, Боря, кося своими телячьими печенежскими глазами, всё отрицал. Глупо, а что делать. Не было, говорит, ничего. Чего не было-то, Боря? Вот же твой ответ! Что ж ты за каждой юбкой торопишься, опоздал, что ли, куда?

Он пишет стихи (кстати, прекрасные) про какую-то Александру Петровну – между прочим, Корнилов, как ещё Пушкин завещал, в стихах всякую свою женщину называл по имени, не заботясь о последствиях –
вот и эти стихи публикует в журнале «Звезда»:

Соловьи, над рекой тараторя,

разлетаясь по сторонам,

города до Чёрного моря

называют по именам.

Ни за что пропадает кустарь в них,

ложки делает, пьёт вино.

Перебитый в суставах кустарник

ночью рушится на окно.

Звёзды падают с рёбер карнизов,

а за городом, вдалеке, –

тошнотворный черёмухи вызов,

вёсла шлёпают по реке.

Я опять повстречаю ровно

в десять вечера руки твои.

Про тебя, Александра Петровна,

заливают вовсю соловьи.

3 марта 1929-го Берггольц записывает в дневнике:

«Борька где-то пропадал всю ночь. Пришёл пьяный, противный, прямо отвращение».

«Мать впадает в амбицию, Борька ходит рвать в уборную. Вот оно, семейное счастье...»

«Как я ненавижу Борьку! Как я хотела бы быть свободной».

На следующий день Берггольц в очередной раз находит письма Татьяны, на этот раз уже внимательно читает – и по контексту понимает, что Борис собирается бросить её и дочь. По крайней мере Берггольц кажется, что там всё именно так и обстоит. Татьяна к тому же пишет всякие колкости про неё.

Скандал, орут в голос, буря, спасайся, Боря.

Отчитывается в дневнике: «В общем, вчера ночью состоялось "примирение". Борька очень "убивался", грозил самоубийством».

Видимо, «самоубийство» подействовало: вдруг правда? И что тогда?

Через несколько дней, на очередном взлёте качелей, Ольга вдруг запишет: «Бориса, кажется, люблю».

И после того, как Корнилова расхвалит знакомый литератор – «Талантище так и прёт у твоего мужа», – с удовольствием записывает: «Я хотя, кажется, и завидую, но мне это льстит: вот какой он у меня».

16 марта Корнилов принят во Всероссийский союз писателей, 18 марта туда же принята Ольга. Хороший повод, чтоб отпраздновать это вместе и в любви.

Это всё ненадолго, конечно.

Денег по-прежнему нет, Ирка по-прежнему «сторож».

Мало того, подкрадывается невезение и с профессиональной стороны: уже 13 апреля 1929 года Берггольц исключают из Ленинградской ассоциации пролетарских писателей – обвинив в том, что её творчество «ни в коей мере не является творчеством пролетарского писателя».

В один союз принимают, из другого гонят. Кутерьма! Нервы!

В том же месяце, апреле 1929-го: «...позавчера ночью был один из тех особенно мучительных скандалов с Борисом, которые стали за последнее время просто регулярными в случае моего отказа… Я пере-
утомляюсь. Дорываясь до постели, чувствую себя разбитой. А он просит. Но чувствовать себя машиной, механически исполняя роль жены –
это очень тяжело, я знаю по опыту. В случае отказа Борис злится и (это вошло у него в привычку) рвёт на себе волосы, дрожит, стонет
и пр. т. п. Это действует на меня не устрашающе, а угнетающе. А тогда он бил меня. Брр. Как мне стыдно писать это. И ведь это не первый раз. Господи, до чего я дошла?»

И, при этом: «Страннее всего то, что сквозь всю эту невозможную накипь я люблю его».

Ольга ходит к Ахматовой, очень её ценит и восхищается ею, тем более что та хвалит стихи Берггольц, но когда следом Анна Андреевна вдруг позволяет себе снисходительно оценить Корнилова – «взлёта нет», – реакция Ольги самая правильная: вида не подаёт, но внутренне взбешена: что за мелкую женскую сущность демонстрирует хитрая Ахматова. Как будто Ольга не знает про себя, что стихи у неё самой хуже, чем у Корнилова. И взлёт у него есть, и всё, что нужно.

В мае 1929-го Корнилов едет в Нижний Новгород. Мысли у Ольги, естественно, об одном: он с Таней сейчас, он с Танюркой. Целует её.

О Татьяне пишет: «Хочется даже дружбы с ней. Господи! Представляю её – и сердце становится маленьким».

Что это? Женская солидарность? Какой-то совсем уже новый уровень чувственности?

«Она превращалась в мою манию. Я была точно влюблена в неё», – пишет Ольга.

При иных обстоятельствах такие отношения могли бы закончиться совершенно неожиданным образом, но Корнилов… он всё-таки на Керженце вырос, а не в Швеции. Ему проще было по старинке: и здесь вцепиться и там держаться.

К лету у Берггольц появляется новый знакомый: 38-летний художник, – уже другой, вполне себе известный, – Владимир Лебедев. Начал он с того же места, что и прежний ухажёр: заметил красотку в редакции «Ежа», попросил познакомить: хочу, говорит, вас рисовать, Ольга.

«...теперь только и живу тем, что снова пойду к нему», – пишет Берггольц.

Каждый день – в его мастерской, он угощает её вином, но ничего такого меж ними нет.

Ольгу предупреждают: юбочник, бабник, там таких много до тебя, много раз уже… рисовали.

И ниже абзацем в дневнике Ольга сообщает: «Завтра иду к своему второму увлечению – Тихонову».

Тихонов, старый конь (ему уже 34! по меркам Берггольц – динозавр! в гусарах служил до революции! чуть помоложе Дениса Давыдова, в общем) – тоже чувствует ток от молодой поэтессы, немного с ней заигрывает, пишет в меру ласковые – как бы деловые – записки.

Говорит, что Берггольц станет большим поэтом, если выйдет из тени Корнилова, – кстати, Тихонов в данном случае оказался замечательно прозорлив, но такие слова взаимопонимания в семье не прибавляют.

Даже два увлечения оказываются недостаточными Берггольц для утоления ревности и странного влечения к девушке Татьяне, которую до сих пор она видела только на фотографии.

«Познакомиться с кем-нибудь новым, сильным», – записывает Ольга в дневнике.

И, вот, пожалуйста: появляется Юрий Либединский – даже имя его звучит, как вдвое сложенный командирский ремень.

О, Либединский тогда был заметен. Один из виднейших пролетарских писателей, автор нашумевшей повести «Неделя», «напостовец» и один из руководителей РАППа – влиятельный деятель, самоуверенный и яркий догматик. В Ленинград его откомандировали из столицы, чтобы контролировать ЛАПП.

Позже выяснится, что он служил в Белой армии, но про это Ольга пока не знала.

Зато всё остальное очень действовало на неё. Тем более что Либединский, записывает Берггольц, «свободно распоряжается деньгами». В сравнении с Борькой, у которого нет ни копья, это всё слишком заметно.

Либединский уверенно вывел Берггольц из-под влияния Ахматовой –
надо прекращать это богемное нытьё, это томное монашество, говорит товарищ Юрий, и Ольга верит. Да, Юрий, надо, да, действительно. Здесь Либединский её и поцеловал – и Ольге понравилось.

На счастье, в те дни за Ольгой возвращается из родного дома Корнилов: всё, жена, берём дочку, поехали, будем знакомиться с родителями. Они ведь так и не виделись: новые нравы, на поклон к отцу-матери никто не ходит за благословением, о текущих изменениях хорошо ещё, если сообщается в письмах. Являются сразу с ребёнком в кульке: здрасьте-пожалуйста.

Берггольц даже рада, а то запуталась в своих «увлечениях»: «Хотя очень некогда, но просто невозможно не записать главного, т. к. в субботу уезжаю в Семёнов. Семёнов! Город, который столько мучил и томил меня, город, который видела через стихи Бориса, город, где живёт она, Татьяна...»

Сразу по приезде в Нижний Новгород происходит, с некоторой даже торжественностью, встреча троих: Борис, Ольга, Татьяна.

Берггольц видит: да, Таня очень красивая, да, очень обаятельная, да, очень хорошо одевается.

Во всём этом снова заметна не только ревность, но и явная чувственность, какая-то тяга.

Однако Степенина теперь замужем. Представляется как Шишогина. Собирается уезжать из Семёнова.

Татьяна требует с Бориса, чтоб он вернул её кольцо, – и он отдаёт, а она ему возвращает его письма.

Финал!

...Гуляют по Нижнему – Нижний восхитителен, эти виды на слияние Оки и Волги, эти монастыри – Ольга сразу вспоминает Углич, где прошло детство.

Оттуда – в Семёнов, семёновские дружки Корнилова на Ольгу косятся: все в восторге от её красоты. Едва выйдут за дверь, обмениваются мнениями: да она невозможная! Она красивей нашего Борьки! Нет, она ещё и умней!

Из Семёнова отправляются в Ильино-Заборское, куда переведены на работу родители Корнилова. Живут они там в самой школе: комната с печкой в углу.

Спят молодые прямо в классе, на матрасе набитом соломой, укрываются старой шубой – а что, хорошо, – и родня ей нравится – матери она привозит в подарок платок и… веер – что ж, пригодится.

Родня её принимает, кто-то сетует, но так, в шутку: у милой-то фамилия-то зачем прежняя – была бы Корнилова... разве плохо? А то её фамилия… как подковой по зубам. Не то немка?

Нет, русская.

Русская по матери и немка по отцовскому деду.

У Бори две младшие сестры – красавицы невозможные. Только ещё необразованней и темней самого Борьки.

Все вместе купаются – и Ольга, непривычная к деревенскому быту, простужается. Жар, предобморочное состояние, жуть. Лечат её всей семьёй. Вроде сбили жар, сопроводили в дорогу.

Но ещё и в Ленинграде потом долечивалась. Боря был всё время рядом, пить бросил, крутился, занимал на лекарства, подозревали всякие осложнения – но обошлось, выходили.

Пока болели, курсы на которых они учились (в основном Ольга, Борька забросил их давно, хотя родителям божился, что учится), закрыли – согласно постановлению коллегии Наркомпроса от 16 сентября 1929 года в рамках борьбы всё с тем же формализмом. Институт считался гнездом формальной школы, что имело под собой некоторые основания.

Зато с Борей – с Борей всё наладилось. И ревновать его вроде бы не к кому больше, и вообще он как-то иначе раскрылся, пока она болела.

Поэтому теперь он может позволить себе выпить.

И ещё раз.

И ещё – а что такого?

С кем-то подрался: он же теперь первый поэт России, как не подраться.

Корнилова исключают из комсомола. Официальная причина – не платил взносы.

Ольга пожимает плечами: а чего ты хотел?

Часть студентов, в том числе Ольгу Берггольц, переводят с закрытых формалистских курсов в Ленинградский государственный университет –
но не Борю.

Учёбу он бросает окончательно.

«...родители его спят и видят, как он кончает "высшее образование", –
не без мстительности напишет Берггольц в дневнике. – Надо бы написать им...»

Ещё бы родители не мечтали: он был бы первый и в одном роду, и в другом по-настоящему образованный, а не какой-то там сельский учитель.

Ольга в университете знакомится с очередным своим увлечением – молодым (и очень красивым) филологом Николаем Молчановым.

Корнилова призывают на военные сборы – пытается отвертеться: он, несмотря на свою пьяную браваду, совсем не воинственный.

Лодырничает ужасно. На уме – только стихи, водка… и ещё одно.

30 ноября в дневнике Ольга запишет: «Его чрезмерная нежность и потенция раздражают меня».

В те же дни сочиняет стихи:

От тебя, мой друг единственный,

Скоро-скоро убегу,

След мой лёгкий и таинственный

Не заметишь на снегу.

Друг он, надо сказать, не единственный.

С Либединским и Лебедевым – дружба продолжается.

Целуется и с тем, и с другим. Потом стыдится, что давала себя «лапать». Большего не позволяет, ещё, видимо, и поэтому её друзья начинают ухлёстывать за другими особами.

Ольга очень огорчится, когда Лебедев переключит внимание на какую-то молодую художницу.

В дневнике признаётся: «...хочу, чтоб меня целовал и, быть может, взял В. В., только: не по-стариковски, а по-настоящему, меня возбуждает его сила, ой...»

О Лебедеве, что забавно, всерьёз пишет, как о старике – ему скоро 40. Самой ей ещё и двадцати нет.

Этот старик делает иллюстрации для её детской книжки «Зима-лето-попугай» – она выйдет в следующем году.

Чуть позже Ольга опечалится по поводу Либединского, когда тот закрутит роман с её сестрой, начинающей актрисой, Машей: «...жалею, что не сошлась с ним. Хотя бы один раз».

Причём надежды ещё не теряет и пишет Либединскому в письме, как бы деловом: «Я очень хорошо, и надо сознаться, много думаю о тебе, и мне хочется верить чему-то, исходящему от тебя».

А он, между прочим, уже собирается жениться на её сестре.

Под влиянием Либединского Ольга посещает Путиловский завод – хочет писать его историю – в общем, перековывается.

Заодно присматривается там к одному инженеру.

14 декабря 1929-го запишет про Корнилова брезгливое: «Этот неграмотный… С января я брошу его».

Новый год они не встречали: а чего ждать от этого года? Всё одно и то же.

«Скука» – самое частое слово в дневниках Берггольц. Ей скучно. И потенция эта его всё время: надоел.

На самом деле причина была не в потенции, конечно, и, как выяснилось, даже не в Татьяне: она его просто разлюбила.

«Я вижу чувственные сны. Я видела недавно Кольку Молчанова. Как мы целовались с ним, горячо, захватывающе. Я хочу так целоваться».

Ольга с Борисом ещё успеют съездить вместе в Москву – на юбилейную выставку Владимира Маяковского «20 лет работы».

Уставший от внутрилитературных склок, задёрганный своими собратьями по литературе, претендовавший на куда более серьёзную роль в Советской литературе, чем звание «попутчика», давно ставший «горланом», но так и не ставший в полной мере «главарём», Маяковский, готовя эту выставку, надеялся одним рывком обеспечить себе признание.

По его нехитрому расчёту, на выставку должны были явиться крупные партийные чиновники, дав всем понять, кто тут главный маяк на литературных горизонтах.

Маяковский пригласил Молотова, Ворошилова, Кагановича, высокопоставленных сотрудников ОГПУ, в том числе Ягоду и Аграновича, два билета ушли в канцелярию Сталина. Был зван первый ряд советской литературы: прозаики Фадеев, Леонов, Гладков, Всеволод Иванов, Олеша, поэты Сельвинский, Светлов, Кирсанов, Безыменский...

Корнилов и Берггольц к началу 1930 года и близко к статусу званых гостей не подходили (хотя, спустя всего пару-тройку лет у Корнилова этот статус уже будет). Скорей всего, Маяковский их обоих элементарно не знал – да и вряд ли ему была близка поэтика Корнилова. В законченной незадолго до выставки поэме «Во весь голос» Маяковский писал, что явится в будущее не как «песенно-есененный провитязь». Корнилов, попадись его стихи Владимиру Владимировичу на глаза, был бы воспринят именно в этом ключе.

Что до самого Корнилова – он находился под куда большим влиянием Багрицкого и Есенина, а к Маяковскому относился скорее прохладно-уважительно. Борис вообще был не из тех, кто стремится обрушить чужие авторитеты во имя утверждения своего. Что-что, а уважение к старшим сыну школьных учителей было привито.

Проблемы «горлана и главаря» начались ещё на стадии подготовки выставки: ближайший друг и соратник Маяковского – поэт Николай Асеев идею персональный выставки не поддержал. Федерация объ-
единения советских писателей идею Маяковского проигнорировала… В итоге свои плакаты и рисунки для выставки он развешивал сам.

Выставка открылась и – никто из представителей власти не явился. Заходил Луначарский – но он к 1930 году ничего не решал. Писатели и поэты – не явились.

Была молодёжь – но Маяковский ждал не этого.

Ленинградская «Смена» приехала специально – и, как вспоминала потом Берггольц, «несколько человек сменовцев буквально сутками дежурили около стендов, физически страдая оттого, с каким грустным и строгим лицом ходил по пустующим залам большой, высокий человек, заложив руки за спину, ходил взад и вперёд, словно ожидая кого-то очень дорогого и всё более убеждаясь, что этот дорогой человек –
не придёт. Мы не осмеливались подойти к нему, и только Борис, "набравшись нахальства", предложил ему сыграть в биллиард. Владимир Владимирович охотно принял предложение, и нам всем стало отчего-то немножечко легче, и, конечно, мы все потащились в биллиардную, смотреть как "наш Корнилов играет с Маяковским"».

Чем закончилась та партия, неизвестно; остаётся надеяться, что Корнилов не сломал окончательно в тот день настроение Маяковскому, которому оставалось меньше четырёх месяцев до самоубийства.

...Возвращались обратно в Ленинград, гадали: отчего так, почему. Берггольц тоже не относила себе к почитателям Маяковского – но так жалко было этого замученного великана. Выяснялось, к тому же, что литература – это не аплодисменты, автографы, гонорары, восторженные глаза читателей – но и что-то другое, болезненное и тяжёлое. Впрочем, кто примеряет на свою судьбу самые тяжёлые варианты – каждый надеется на податливую удачу.

И удача Ольги с удачей Бориса никак уже не связывались.

12 февраля, сразу после возвращения с выставки, Берггольц подаёт заявление о восстановлении в ЛАПП. Либединский насоветовал – и Либединского она слушается.

28 февраля 1930-го очередная запись в дневнике: «На любовь к Борьке смотрю как на дело прошедшее <...> Целую, живу с ним, иногда чувствую нежность и жалость, иногда верю. Всё это нечестно, зачем я живу с ним?»

18 марта: «Ласки Бориса воспринимаю тяжело и нехорошо <...> Я возбуждаю себя совершенно искусственно. Когда он трогает меня, я нарочно называю про себя всё это самыми подлыми именами или представляю себе, что я – не я, и он – не он...»

Однажды Бориса и Ольгу видел в ресторане Дома печати критик и поэт, член ЛАПП Лев Левин и оставил по этому поводу характерную зарисовку: «За столом сидела тоненькая девушка с выбившейся из под платка золотисто-льняной прядкой. Никогда в жизни не видел такого цвета волос и такого золотисто-матового румянца. Напротив сидел коренастый парень с немного нависшими веками над тёмными, калмыцкого типа глазами. Сразу было видно, что им обоим нелегко. Время от времени они перебрасывались короткими словами».

Весной Корнилова, наконец, призвали на территориальные сборы – жене представилась возможность отдохнуть, ему – пострелять. Он получает красноармейскую выучку, родителям, не без гордости, пишет: «...вышел из казармы с аттестатом пулемётчика, с большим душевным удовлетворением. Чувствую себя прекрасно... Полюбил своё пулемётное дело. Полк наш отчаянный – ребята, ленинградская рабочая молодёжь, все здоровенные, как черти...»

К лету 1930-го они живут кое-как, на холостом ходу, по кислому течению.

Когда Корнилову предлагают творческую командировку в Баку от «Ленфильма» – он с радостью соглашается: хоть куда-то, но прочь из дома.

В тридцатом году писательские командировки в разные концы страны – с заданием написать что-то воодушевляющее о советской действительности – начали становиться уже традицией.

Компанию Корнилову составляет бывший «сменовец» Дмитрий Левоневский. Сама «Смена» была ликвидирована участниками группы и превратилась в «Первую ударную бригаду поэтов Ленинграда», одним из руководителей которой стал на всех основаниях Корнилов, и тогда же вступивший в самую влиятельную литературную организацию Союза – РАПП.

Деньги «ударные поэты» получили в киностудии «Ленфильм», плюс ещё небольшой аванс от Госиздата. Купили себе костюмы и ботинки на толстой резиновой подошве. Борис приобрёл ещё дочке Ирке игрушку, а Ольге… Ольге ничего. Видеть её уже не было никаких сил.

(Чуть позже будут написаны жестокие, но чётко отвечающие настроению строки о жене: «Вот опять застыло словно лужица / неприятное твоё лицо».)

Выезжали из Москвы, на курьерском поезде – пять суток в пути.

Пока были в Баку – ничего не писал, всё больше рассматривал места нефтедобычи, поднимал бокалы за дружбу народов и социалистическое строительство, да пытался хоть немного разглядеть местных женщин – которые, к несчастью, ходили в парандже.

В поездке Корнилов заматерел, отъелся за щедрым азербайджанским столом, загорел.

22 июня послал родителям (не жене, конечно) открытку: «5-го июля заканчиваю свою работу в Баку, сажусь на аэроплан и вылетаю в Тифлис. 10-го сажусь на пароход – еду через Каспийское море по Волге к вам. Следовательно – скоро увидимся».

Работа начнётся с замечательного стихотворения «Качка на Каспийском море», написанного ещё по пути, в море.

Нас не так на земле качало,

нас мотало кругом во мгле –

качка в море берёт начало,

а бесчинствует на земле.

Нас качало в казачьих сёдлах,

только стыла по жилам кровь,

мы любили девчонок подлых –

нас укачивала любовь.

Водка, что ли, ещё?

И водка –

спирт горячий,

 зелёный,

 злой;

нас качало в пирушках вот как –

с боку на бок

и с ног долой.

Но такими стихами перед Госиздатом и «Ленфильмом» отчитываться не станешь – не оценят, разве что позлить Берггольц «девчонкой подлой» можно; поэтому одновременно Корнилов принимается за цикл «Апшеронский полуостров».

Наряду с поэтическим хулиганством, которое в случае Корнилова почти неизбежно (например, он издевается над своими предшественниками, воспевавшими царицу Тамару, перечисляя Пушкина, Лермонтова, Пастернака и недавно застрелившегося Маяковского – а про себя говорит: «Но царица теперь старовата / я молчу… не люблю старух»), там содержится всё, что заказано:

Сабунчи пригнули шею бычью –

пусть подъём к социализму крут,

вложим пятилетнюю добычу

в трёхгодичный драгоценный труд.

Пять самых боевых (и самых, признаться, неудачных) стихов из цикла вышло в шестом номере главного ленинградского журнала «Звезда» за 1931 год.

Здесь, пожалуй, стоит раз и навсегда объясниться. Так называемые «производственные» стихи получались не всегда убедительными, в том числе и у Корнилова, вовсе не потому, что он писал их из-под палки. Он сам искал этой работы, требовал её для себя.

Производственные стихи, как и вообще любые стихи о физической работе, писать сложно оттого, что они неизбежно будут получаться, прямо говоря, скучнее, чем стихи о любовной страсти или о войне, или о вдохновенном пьянстве, например. Сама речь так устроена – опоэтизировать нефтяную трубу или токарный станок не просто. Найти любителя на такие стихи – втройне сложнее. О любви или о смерти люди думают чаще и с бόльшим интересом.

В то время как советская власть, безусловно озабоченная тем, что растерзанную страну надо стремительно восстановить и усилить, желала ударный труд опоэтизировать. Ставила, в конечном итоге, вовсе не подлую, а высокую, удивительную задачу – в принципе, почти не выполнимую. Как ни странно, отчасти власти удалось добиться желаемого, невзирая не отдельные поэтические неудачи: по крайней мере, кинематограф и музыка (в том числе песни) с этим справлялись куда успешнее.

Как бы то ни было, но без этих партийных заданий, писательских бригад (а также бригад художников, кинематографистов, композиторов и т. д.), поездок на фабрики и комбинаты и отчётов по этому поводу – страна не достигла бы сверхрезультатов, и в итоге проиграла бы надвигающуюся войну.

Прежде чем кривить ухмылку, слыша стихи о пятилетках, надо об этом помнить.

...По возвращении домой Корнилов Ольгу не застаёт: она уехала во Владикавказ – на практику в газету «Власть труда».

Корнилов отдаёт ключи тёще и снимает себе угол на остатки от аванса «Ленфильма».

В декабре того же года Ольга уедет с Николаем Молчановым (тем самым, с которым мечтала в дневнике страстно, вместо постылого мужа, целоваться) «строить фундамент социализма» – это её слова – в Казахстан.

Дочка Бориса и Ольги, Ирина, останется в Ленинграде, у матери Берггольц.

Борис будет к ней заходить. Иногда.

Новь

Жёны у Корнилова – таких красивых, пожалуй, даже у Есенина не было.

В этот раз всё удалось – то ли он стал позврослее, то ли девушка встретилась такая, для которой Корнилова было не много и не мало – а ровно столько, сколько он и хотел.

Люда Борнштейн. Людмила Григорьевна.

Называл её: Цыпа.

Друзья часто слышали: Цыпа, пойдём домой.

Думали: вот так любовь, вот как называет умильно.

На самом деле она была не Людмила по паспорту, а Ципа Григорьевна.

Как шутил (или не совсем шутил) Есенин: еврейские девушки – лучшие друзья русских поэтов.

Родилась в Санкт-Петербурге 30 апреля 1913 года. Когда познакомились – ей было 16 лет. В 1931 году они уже живут вместе – ему 24, ей 18.

Лицо замечательной красоты, крупное, открытое. Каштановые волосы. Вся выточенная, глазастая.

Выглядела уже в ранней юности заметно старше своего возраста.

Следующие пять лет – время стремительного взлёта Бориса Корнилова. Что бы там Ольга ни говорила, а он оказался вовсе не пропащий, не лодырь, не бездельник. И достоин вполне женской любви – горячей, юной, отзывчивой.

А то, что Люся, Цыпа, Ципа ничего, совсем ничего не умела делать по дому, и готовить Боре приходилось самому – так это можно перетерпеть.

Я и вправо и влево кинусь,

я и так, я и сяк, но, любя,

отмечая и плюс и минус,

не могу обойти тебя.

Ты приходишь, моя забота

примечательная, ко мне,

с Металлического завода,

что на Выборгской стороне.

Ты влетаешь сплошною бурею,

песня вкатывает, звеня,

восемнадцатилетней дурью

пахнет в комнате у меня.

От напасти такой помилуй –

что за девочка: бровь дугой,

руки – крюки,

 зовут Людмилой,

разумеется – дорогой.

Я от Волги своё до Волхова

по булыжникам на боку,

под налётами ветра колкого,

сердце волоком волоку.

Вот как умел он писать. И вот как любил.

С ней он чувствовал себя взрослее, мужчинистее – и прекратился, наконец, этот непрестанный поединок с женщиной. Сколько можно-то?

Удача сопутствует ему и работает на него: душа танцует; хорошо.

Ему попадает от критики – а кому не попадало? были такие случаи в истории литературы? – и его тексты рассматриваются через якобы пролетарскую призму. Но в каждой эпохе обитают свои чудаки, со своей окончательной правдой – материалисты, клерикалы, пролетарии, буржуа, разница между ними не столь остра, как кажется. Корнилову досталась такая эпоха. Родись он на сто лет раньше или на сто лет позже –
он почти в равной степени рисковал никогда не выбраться из своей семёновской деревни.

А здесь – выбрался, и пытался преодолеть тоску по ней (когда бы там остался, не без иронии заметим мы, так бы не тосковал):

Как медная туча, шипя и сгорая,

на скатерти белой владыча с утра,

стоит самовар – и от края до края

над ним деревенские дуют ветра.

…………………………………..

Блаженство тяжёлое – яйца и масло,

холодные крынки полны молока,

и пот прошибает, пока не погасло

светило или не ушло в облака.

…………………………………….

Деревня российская – облик России,

лицо, опалённое майским огнём,

и блудного сына тропинки косые –

скитанья мои, как морщины, на нём...

Это из стихотворения «Чаепитие», за которое с Корнилова не раз спросили – больно вкусно обедают у него кулаки: это и есть облик России? с самоваром и яйцом вкрутую?

Журнал «Звезда» (тот же, где годом раньше «Чаепитие» и было опубликовано) сообщает в первом номере за 1931 год: «Д. Бедный и Б. Корнилов отправляются от одних и тех же моментов "объективной реальности", от ощущений лени, косности, застоя нашей страны, но Демьян Бедный подходит к ним как большевик – он их преодолевает своей ненавистью и своим стихотворением выкорчёвывает корни капитализма, а стихотворение Бориса Корнилова идёт по линии покорности этим ощущениям. Но и он чувствует силу революционной перестройки и в нём стонут, предсмертно стонут те корни капитализма, которые мы выкорчёвываем...»

В том же году выходит вторая, после «Молодости», книжка стихов Корнилова. Но чтобы «Молодость», где три четверти стихов Корнилов выкинул бы теперь не глядя, не портила о нём впечатления, он называет новый сборник – «Первая книга»: ведите отсчёт отсюда, то, что раньше – не считается.

Характерно, что редакторское предисловие к сборнику составлено так, что впору его открыть – и сразу выбросить: «Творческий путь
Б. Корнилова примечателен, больше того – поучителен. Книга демонстрирует, с каким трудом автор пытается преодолевать свои творческие ошибки. Ознакомившись со стихами, мы видим, что многое ещё осталось непреодолённым. Первые годы своей творческой деятельности Корнилов увлекался "изображением природы". В большинстве – это стихи, в которых низкий уровень мировоззрения автора не дал ему возможности осознать действительности в её сложных проявлениях, понять классовую сущность явлений и т. д. Отсюда – нередко прорываются совершенно чуждые нам интонации, когда автор, сам того не замечая, говорит с "чужого голоса". Мировоззренческая отсталость автора не даёт автору преодолеть и ряд других творческих ошибок».

За то же самое упрекали и предыдущий сборник, и упрекнут следующий – да и ладно: книжки-то вот они, бате можно послать, мамке. У Ольки, между прочим, ещё нет ни одной такой книжки – только детская. А детская – это ничто, это и он сможет, он сможет всё – и песню, и поэму, и краснознамённую, и барабанную, и плясовую с выходом.

Тем более что редактор в предисловии меняет гнев на милость и цедит: «Темы войны, боевой готовности, песни комсомола о воздушном флоте показывают, как страница за страницей автор укрепляется в завоевании новой тематики, ускоряет начавшийся процесс перестройки».

Ускоряем процесс, ускоряем!

Ради увеличения успеха Корнилов готов на многое: с одной стороны, сам себя пнуть за стих «Чаепитие» (в стихотворении «Слово по докладу Висс. Саянова о поэзии на пленуме ЛАПП» – «...пар "чаепитий", тяжёлый и вкусный / стоит, закрывая сегодняшний день»), с другой – множить славу по есенинским лекалам: затевая, один за другим, пьяные скандалы, дебоширя и куражась.

Вслед за «Первой книгой» выходит в том же году ещё одна – «Все мои приятели». Ловите!

Предположим вызов.

Военное времечко –

встанут на границах особые полки.

Офицеру в темечко

влипнет, словно семечко,

разрывная пуля из нашей руки.

Чтоб товарищ поэт особо не хорохорился, его придерживают за уздцы свои же.

1 января 1932 года в адрес Оргбюро ЦК ВКП(б) уходит докладная записка Культпропа о состоянии советских литературных журналов.

Достаётся всем – «Красной нови», «Новому миру», но особенно нас интересует «Звезда».

Культпроп раскладывает ленинградских сочинителей по полочкам:

«Каверин в "Путевых рассказах" клеветнически пишет о зерносовхозе... Ольга Форш в реакционном произведении "Сумасшедший корабль" открыто защищает реакционную буржуазную интеллигенцию...

В отделе поэзии такое же положение, как и в прозе. Пастернак, например, пишет, что вакансия поэта бесполезна, а может быть, и вредна...

Борис Корнилов в № 6 печатает хулиганские стихи "Баллада о Билле Окинсе"). В его стихах сквозь густой чубаровский мат доносятся нотки определённого любования красотами заморских стран».

История длится месяцы и месяцы! Только 3 декабря 1932 года Оргбюро приняло лаконичное постановление «О стихах т. Корнилова в "Звезде" № 6 1931 г.»: «Признать стихи "Баллада об оккупанте Билле Окинсе" тов. Корнилова грубо неприличными, роняющими достоинство коммунистического журнала. Предложить редакции исправить ошибку».

Здесь положено броситься на защиту поэта от мозолистых рук цензуры – тем более что упомянутому рядом Пастернаку досталось вообще ни за что – потому что его слова элементарно переврали, но если спокойнее, то упомянутая баллада действительно не относится к числу удач Корнилова.

Где шатается Билл Окинс?

Чёрт дери, а мне-то что?

Он гулял по Закавказью –

покажу ж ему за то

в бога, гроб, мать…

Покажу ему за то.

А при чём же тут Билл Окинс,

если действует милорд?

Надо лорду

прямо в морду

и, покуда хватит морд,

в бога, гроб, мать

рвать, бить, мять.

После таких стихов положено бить пьяным кулаком в стол, чтоб задеть тарелку с горохом, и горох полетел бы во все стороны, и пиво из кружки выплеснулось – тебе же на брюки.

Допустимо предположить, что примерно в таком состоянии эти стихи и писались.

Корнилов периодически силится взять эту бойцовскую, залихватскую, красноармейскую интонацию, но она ему не всегда даётся – потому что его истинная стихия совсем другое: ироничная, с ухмылочкой советского повесы, любовная лирика, и тут же – ужас смерти, хрупкость человеческой природы – он об этом вот.

Легкомысленная привычка описывать войну на мотив «Яблочка» – когда пуля словно семечка летит офицеру в темечко – попади Корнилов на войну, сыграла бы с ним тяжёлую шутку: он бы ошалел от того, как всё это выглядит на самом деле.

Все его стихи о Гражданской – это воспоминания о неувиденном, о неизвестном – ему даже отец, с фронта на фронт перемещавшийся шесть лет и явно имевший что скрывать, ничего не рассказывал об этом.

Описываемое им казалось весёлым и задорным оттого, что кто-то уже сделал это за не успевшую на фронты Гражданской поросль:

Тучи злые песнями рассеяв,

позабыв про горе и беду,

заводило Вася Алексеев

заряжал винтовку на ходу.

С песнею о красоте Казбека,

о царице в песне говоря,

шли ровесники большого века

добивать царицу и царя.

Процитированное – написанное Корниловым в 1932 году – делалось от ещё не ушедшего юношеского малоумия, от излишнего старания быть самым громким и самым заметным, тем более если тебе всего-навсего 25.

Он и с Маяковским прощался не без дурного задора:

Мы читаем прощальную грамоту,

глушим злобу мы в сердце своём,

дезертиру и эмигранту

почесть страшную воздаём.

Он лежит, разодет и вымыт,

оркестровый встаёт тарарам…

Жаль, что мёртвые сраму не имут,

что не имет он собственный срам.

Застрелился, подумаешь! Нас, новое поколение, так легко не сломать.

На счастье, не такие строки, а совсем другие – о жертвенности и жалости – стали главными у Корнилова и принесли ему удачу.

Но непрестанная смена этих двух интонаций – залихватско-большевистско-маршевой, во все стороны постреливающей из маузера и прочих смертельных приспособлений, и другой – страдающей, предчувствующей свою собственную, личную пулю, в собственное теплое темечко – выворачивала душу наизнанку.

Корнилов подряд, иной раз через день, писал, к примеру, такое:

Айда, бойцы,

заряди наганы,

во все концы

шевели ногами…

Так летели вдаль они,

через все мосты,

нарядив медалями

конские хвосты.

Нарядив погонами

собачьи зады –

хвастая погонями

на всякие лады.

И тут же совсем иное:

На пять километров

И дальше кругом,

Шипя, освещает зарница

Насильственной смерти

Щербатым клыком

Разбитые вдребезги лица.

Убийство с безумьем кромешного смесь,

Ужасную бестолочь боя

И тяжкую злобу, которая здесь,

Летит, задыхаясь и воя,

И кровь на линючие травы лия

Свою золотую, густую.

Жена моя!

Песня плохая моя,

Последняя,

Я протестую!

Как же ты протестуешь – вот только что так весело было: во все концы летели, наганы, хвосты… Что не так?

В нём то и дело подозревали то кулака, то дебошира, то богему, то пьяницу – а он был просто человеком, души которого не хватало, чтобы не только осознать, но и оправдать все бешеные издержки эпохи.

Но и сбежать от неё некуда, и не очароваться ею – простому крестьянскому парню – трудно. Он-то что потерял? Пока только приобрёл!

Грохочут 1930-е, это дуракам издалека кажется всё одноцветным, кумачовым, когда кругом только РАПП и кирзовые сапоги начальства.

А РАПП, между прочим уже отменяют: 23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) вынес постановление «О перестройке литературно-художественных организаций»: хлоп, и нету рапповского кулака над головой. Корнилов безусловно рад этому.

А ещё многое иное тут же, рядом, сейчас – чему и поверить нельзя.

За первую пятилетку – до 1933 года построены Харьковский тракторный, Челябинский тракторный, Турксиб, Днепрогрэс, Кузнецкий металлургический, Березниковский химкомбинат, Нижегородский автозавод, Магнитка. Советская Россия отправляет одну за другой научные экспедиции в дальние концы света, уже мечтает о космосе, увлекается психоанализом и фрейдизмом, который замешивает с марксизмом –
жуть, восторг, чёрт знает что.

Миллионы рабочих и крестьянских детей кинулись учиться – чьи предки за тысячу лет не учились никогда. Чтобы владеть свободным отныне и на века миром, надо взять культуру за всё минувшее тысячелетие, и за позапрошлое тысячелетие тоже, и если не даётся разом –
брать нахрапом, в охапку.

Никто ещё не знает, как будет, но дух захватывает, время несётся на тебя.

Знамёна на ветру, плакаты трещат. Владыкой мира будет труд. Утро встречает прохладой.

Самое знаменитое стихотворение

Советскому Союзу нужны были свои песни – и не только героические, но и трудовые. Откуда большевистская власть догадалась, что народу песня необходима – сразу и не поймёшь: монархия ведь по большей части обходилась и без этого.

Безусловно, определённый опыт воздействия стихотворного и музыкального ряда сложился ещё в Первую мировую – империалистическую и особенно в Гражданскую: неожиданно выяснилось, что всё это отлично работает.

Тем более сыграло свою роль достаточно быстрое переосмысление Гражданской войны – опять же через поэзию и массовую песню. Чудовищная кровавая каша, которой по большей части и была эта война, через какие-то пять-семь лет приобрела совершенно иные, романтические черты. Любой красный командир, всякий боевой нарком, мурлыкая себе под ус куплет о своих, положенных на музыку и зарифмованных подвигах, поневоле начинал лучше относиться ко всему, что успел натворить.

Но теперь-то надо было не шашкой рубать, а доказывать людям, что на завод по гудку идти – не меньшая радость, чем нестись в конной атаке под ярко-алым полотнищем.

К концу 1920-х дефицит духоподъёмных песен явственно дал о себе знать. Поэт Александр Безыменский писал в «Комсомольской правде»: «Требования на новую песню ощутимы почти физически. Тема современной жизни требует такой песни, которая помогла бы в развитии и сплачивании людей».

Подобных песен не было. Или почти не было.

Ещё в 1928 году проводили конкурс советской массовой песни: получили целых 600 претендующих на массовость сочинений. В целом товар оказался настолько сомнительным, что первую премию даже не стали вручать.

ЦК ВЛКСМ из года в год повторяло: дайте что-нибудь спеть; проводили собрание за собранием – но резолюцией такие вопросы решить трудно. Нужен был талант, вернее два таланта.

В 1932 году режиссёры Фридрих Эрмлер и Сергей Юткевич снимали фильм «Встречный»: о первой пятилетке и ленинградских металлистах, выдвинувших свой «встречный» план.

Что это такое, сегодня уже подзабыли.

Допустим, государство планирует один показатель, а рабочие дополнительно к госплану дают, ну, к примеру, в два раза больше угля или стали.

Только пошляки могут издеваться над подобной работой и самоотверженностью.

Конкретно в Ленинграде случилось следующее: ленинградские рабочие срочно изготовили турбину для электростанции. Надо было это событие осветить. Сам Сергей Киров сказал: да, кино необходимо, вот в содружестве с передовиками и снимайте.

Композитора предложил один из постановщиков, Лео Арнштам, им стал Дмитрий Шостакович, гений 25 лет, сочинивший не только оперу «Леди Макбет Мценского уезда», но и, как ни удивительно, уже имевший в кинематографическом деле серьёзный опыт. Начинал он с того, что выступал в качестве музыкального иллюстратора в ленинградском театре, затем написал симфоническую партитуру к немому фильму «Новый Вавилон» и, наконец, с появлением звукового кино, успел сочинить музыку для фильмов «Одна» и «Златые горы».

Поэта выдвинул художественный руководитель «Ленфильма» и старый большевик Адриан Пиотровский – знавший Корнилова (не так давно он направлял его, напомним, в Баку).

Да и никаких других заметных соперников в Ленинграде у Корнилова не было: Николай Тихонов точно был не по песенной части, другие собратья пожиже, а корниловские стихи – даже не положенные на музыку, через раз хотелось напевать:

До дому ли, в бой ли –

вдаль на всех парах –

запевала запевает:

– Ребятишки, ой ли…

были два товарища…

(бубен-чебурах…)

С копылок повалишься,

познаешь тоску –

были два товарища,

были два товарища,

были два товарища –

в одном они полку.

В общем, Шостакович дал мелодию, Корнилов наскоро набросал текст, Пиотровский поправил одну строку, чтоб лучше легла в припев, Шостакович ещё немного переправил музыку, чтоб текла, не спотыкаясь, – и однажды случилось чудо.

Запись тогда делали синхронно со съёмкой – шла белая ленинградская ночь, – и к утру артисты, персонал и первые прохожие уже распевали «Нас утро встречает прохладой».

После выхода фильма на экраны «Песня о встречном» стала, без преувеличения сказать, самой известной во всей стране. Миллионы людей знали её наизусть: она воистину строить и жить помогала.

Помимо почти загадочной, певучей привлекательности, в ней, признаем, имеется одно качество, характерное даже для лучших из массовых песен: при ближайшем рассмотрении она оказывается несколько, что ли, абсурдной – хотя на слух это никак не распознать.

Поначалу всё вроде нормально:

Нас утро встречает прохладой,

нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

веселому пенью гудка?

Хотя в семь утра гудок, призывающий на тяжелейшую работу, – ну, не самый очевидный повод для радости.

Дальше – сложнее:

Не спи, вставай, кудрявая,

в цехах звеня…

Тут же представляется, что кудрявая спала прямо в цехе и там чем-то звенела. Но нет, выясняется, что это вся страна звенит в цехах.

Итак:

...в цехах звеня,

страна встает со славою

на встречу дня.

И радость поет, не скончая,

и песня навстречу идёт,

и люди смеются, встречая,

и встречное солнце встаёт.

Здесь вопросы начинают возникать через строчку.

«Радость поёт, не скончая» – откуда Корнилов взял это чудесное слово?

«Люди смеются, встречая» – что встречая-то? Или кого?

(Словом – смеются встречая и не скончая.)

«Бригада нас встретит работой...» – поётся дальше.

(Опоздали-таки на работу-то, пока вставали с кудрявой?)

«И ты улыбнёшься друзьям…»

(А что ещё остаётся делать, раз опоздали?)

За Нарвскою заставою

в громах, в огнях

страна встаёт со славою

на встречу дня.

Здесь может возникнуть лёгкая филологическая перепалка: может быть, страна встаёт всё-таки навстречу дню? А не «дня»?

И почему вся страна за Нарвскою заставою? Это что, про Финляндию песня?

И с ней до победного края

ты, молодость наша, пройдёшь,

покуда не выйдет вторая

навстречу тебе молодёжь.

Любопытно, отчего она – «вторая»?

И радость никак не запрятать...

А надо бы, не то отнимут.

...когда барабанщики бьют.

За нами идут октябрята,

картавые песни поют...

Что же, других октябрят уже не осталось, только картавые?

Видимо, только такие, потому что в следующем куплете –

Отважные, картавые

Идут, звеня...

Мало того, что они картавые, так ещё и дребезжат.

Ну и финал, наконец:

Любить грешно ль, кудрявая,

Когда звеня,

Страна встаёт со славою

На встречу дня.

Действительно, раз мы гудку не рады, может, кудрявая, это... – грешно ль любить на встречу дня?

Невольно тут жалобы Ольги Берггольц вспомнишь.

Но песню эту и по сей день не забыли.

Не так долго осталось до того момента, когда «Песне о встречном» исполнится целый век. По справедливости говоря, авторские песни, живущие столетие или около того, – немыслимая редкость.

И если эта вытянула подобный срок – значит, так было надо петь, как написано. «И встречный, и жизнь пополам», и эти, на самом-то деле, гениальные картавые октябрята.